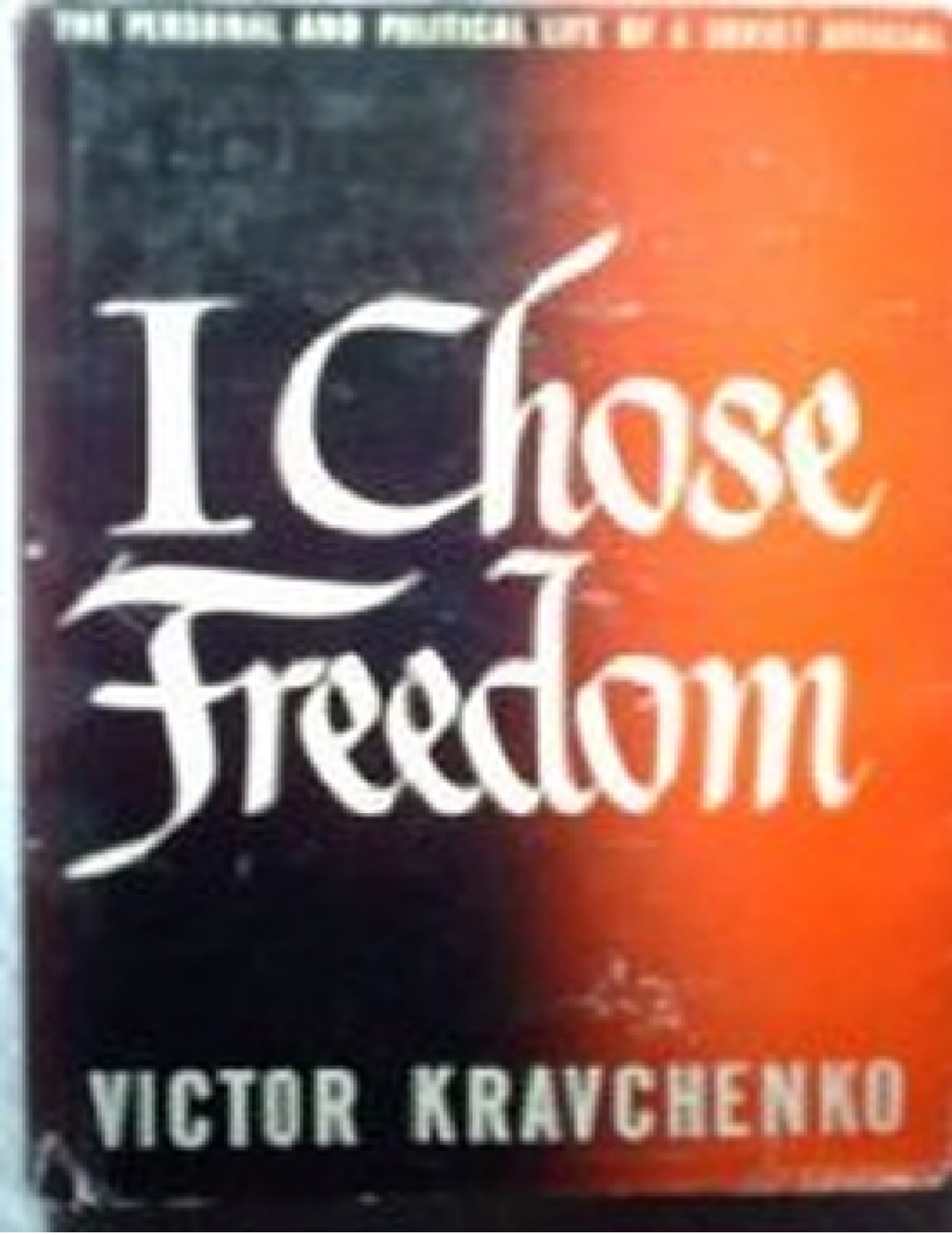
THE PERSONAL AND POLITICAL LIFE OF A SOVIET OFFICIAL
I Chose Freedom
VICTOR KRAVCHENKO

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

издание любезно предоставлено библиотекой Йельского университета, г. Нью-Хэйвен, Коннектикут) — май 2007

Книга Виктора Кравченко «Я избрал свободу» нашумела в Америке и приобрела всеобщую известность.

Виктор Кравченко, в прошлом коммунист и крупный работник советского аппарата, воспользовался своей командировкой в Америку, чтобы порвать с советским режимом. Он стал невозвращенцем. Его книга, в которой с исключительной правдивостью освещается жизнь советской страны, правящих верхов и задавленных гнетом низов, сыграла немалую роль в формировании правильного отношения мирового общественного мнения в советскому тоталитарному режиму.

- Виктор Кравченко
  - КТО ТАКОЙ КРАВЧЕНКО?
  - ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
  - ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ
  - ОТРЫВОК ВТОРОЙ
  - ОТРЫВОК ТРЕТИЙ
  - ОТРЫВОК ЧЕТВЕРТЫЙ
  - ОТРЫВОК ПЯТЫЙ
  - ОТРЫВОК ШЕСТОЙ
  - ОТРЫВОК СЕДЬМОЙ
  - ОТРЫВОК ДЕСЯТЫЙ
  - ОТРЫВОК ДВЕНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ТРИНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ПЯТНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК СЕМНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ДВАДЦАТЫЙ
  - ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
  - ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
  - ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
  - ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
  - ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Виктор Кравченко
Я ИЗБРАЛ СВОБОДУ

Я посвящаю эту книгу русскому народу, из которого я вышел. Я посвящаю ее памяти миллионов тех, которые погибли в борьбе против советского абсолютизма; десяткам миллионов невинных людей, гниющих в безчисленных кремлевских тюрьмах и лагерях принудительного труда; памяти миллионов моих соотечественников, погибших при обороне нашей любимой родины с мечтой о лучшем будущем для нашего народа. Я посвящаю эту книгу прогрессивным и стремящимся к справедливости людям во всех странах, которые помогают в борьбе за свободную демократическую Россию, без которой не может быть устойчивого мира на земле.

Виктор Кравченко

Нью-Йорк, 11 февраля 1946 г.

КТО ТАКОЙ КРАВЧЕНКО?

Виктор Андреевич Кравченко (11 октября 1905, Екатеринослав, ныне Днепропетровск — 25 февраля 1966, Нью-Йорк) — советский невозвращенец, который описал личную и политическую жизнь советского чиновника в своей книге «Я Выбрал Свободу» (1946).

Родился в семье революционеров, Кравченко стал инженером и работал в области бассейна Дона. Вступил в Коммунистическую партию в 1929. Он засвидетельствовал крупномасштабный голод украинского крестьянства как часть перехода Советского Союза к коллективизации (Голодомор). Это представление крупномасштабного списка убитых через запланированное голодание и исполнение при Сталине отчуждало его от советского режима.

В течение Второй Мировой войны он был капитаном Красной Армии прежде, чем быть направленным к советскому Торговому представительству в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1943 он оставил свой пост и попросил политическое убежище у властей Соединенных Штатов, в то время как Советские власти потребовали его выдачу как предателя. Ему было предоставлено политическое убежище и, живущий под псевдонимом, чтобы избежать судьбы предшествующих невозвращенцев, женился на Синтии Кушер и имел двух сыновей Эндрю и Энтони, которые оставались в неведении истинного лица их отца.

Кравченко стал известным благодаря его книге «Я Выбрал Свободу», открывающей глаза на коллективизацию, советские тюрьмы и лагеря, использование рабского труда народа. Его публикация была встречена громкими нападками Советским Союзом и международными коммунистическими партиями. Одно такое нападение французским коммунистическим еженедельником «Леттрэз Франсэз», который обвинял его в том, что он лгун и Западный шпион, привело к иску для клеветы. Расширенное испытание 1949, показывающее сотни свидетелей, было дублировано в «Суде Столетия». Пока Советская сторона приглашала свидетелей из числа прежних коллег и бывшей жены Кравченко, чтобы осудить его, адвокаты Кравченко представили оставшихся в живых узников советских тюрем и лагерей. Среди них была Маргарет Бубер-Нейман, вдова известного немецкого коммунистического лидера Хайнца Неймана. Сама она была сослана в ГУЛАГ. Во время договора Молотов-Риббентроп в 1939 она была возвращена в Германию и заключена в тюрьму в Равенсбрюке. Ее прошлое явилось утверждением факта

отсутствия различий между советскими и нацистскими режимами.

Процесс закончился победой Кравченко, который, получивший только символическую денежную компенсацию, нанёс ощутимый удар по международному Коммунизму.

Его смерть от пулевых ранений в его квартире остается неразгаданной, хотя по официальной версии было самоубийство. Его сын Эндрю полагает, что он был жертвой экзекуции КГБ.

(*Из проекта Wikipedia*)

* * *

Виктор Кравченко родился в 1905 году в Екатеринославле (Днепропетровск) в семье рабочего. Отец его неоднократно преследовался за революционную деятельность и при царизме был революционером-подпольщиком.

В. Кравченко в 1927 году был призван в Красную армию. В это время он уже был комсомольцем. В 1929 году, после демобилизации, работая мастером на заводе имени Петровского, Кравченко вступил в партию. В это же время Кравченко поступил в Харьковский технологический институт и окончил его в 1935 году. После института Кравченко стал начальником трубопрокатного цеха на Никопольском комбинате. В разгар войны, в 1942 году, Кравченко был назначен начальником Управления военного снабжения Совнаркома РСФСР. В июне 1943 года он был послан в Соединенные Штаты для закупок вооружения Советскому союзу и в начале апреля 1944 г. бежал из советский миссии и поставил себя под защиту американского народа.

В настоящее время В. Кравченко получил американское подданство и живет в Америке.

(Из книги «Я избрал свободу», 1946)

* * *

…С января 1949 года, когда в парижском суде слушалось дело В.А.Кравченко, автора книги «Я выбрал свободу», газета, благодаря моему репортажу из зала суда, стала выходить два раза в неделю.

Я опять, как десять лет тому назад, сидела в суде на скамье прессы, в одном ряду с корреспондентами «Таймса», «Известий», канадских и французских газет. Дело было шумное, в то время —

важное, и личность самого Кравченко, вчинившего иск французской коммунистической газете за дифамацию, довольно красочная. В публике иногда появлялись Андре Жид, Мориак, Арагон. И вечером на тротуаре собиралась толпа любопытных взглянуть на самого Кравченко. Я спешила домой, зная, что после того, как в «Леттр Франсез» была на меня карикатура, за мной посматривают, и, стараясь миновать темные улицы, приезжала домой. До поздней ночи работала я над отчетом. В семь часов утра из редакции за ним являлся посыльный. Позже газета выпустила весь репортаж отдельной книгой — на газетной же бумаге, и книга давно рассыпалась в пыль.

Вкратце это дело, теперь забытое, сводилось к тому, что один из членов советской закупочной комиссии, посланный из СССР в США в 1943 году, решил не возвращаться обратно и остаться в Америке. В апреле 1944 года он порвал с Москвой и затем написал и издал книгу, где рассказывал о причинах этого разрыва, о жизни в Советском Союзе и о том, как Сталин проводит свою политику по отношению к крестьянству, технической интеллигенции и старым большевикам. Судьба книги Кравченко была необычна: ее перевели на двадцать два языка, и она читалась повсюду. Французский литературный еженедельник, который можно назвать «неофициально коммунистическим», начал кампанию против него, понося его имя, оскорбляя его, доказывая, что книга написана не им и что сам автор фашист, игравший в руку Гитлера. Но для многих, и в том числе для меня, корень всего дела находился в том факте, что советская система концлагерей получила наконец широкую огласку. О ней говорил и Кравченко в своей книге, и свидетели, вызванные им, бывшие заключенные в Колыме и Караганде. Вопрос о лагерях внезапно встал во Франции во весь свой рост. «Леттр Франсез», конечно, отрицала существование лагерей, и свидетели, его вызванные, утверждали, что все это выдумки. Видеть собственными глазами, как бывший министр, или всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии, или профессор Сорбонны с Почетным легионом в петличке, или известный писатель приносили присягу на суде и под присягой утверждали, что концлагерей в СССР никогда не было и нет, было одним из сильнейших впечатлений всей моей жизни. Публика, настроенная в пользу Кравченко, встречала эти утверждения враждебными выкриками. Когда в 1962 году я прочла рассказ Солженицына про советский концлагерь и узнала, что рассказ этот вышел во французском переводе, я ждала, что хоть один человек из присягавших и лгавших суду в 1949 году откликнется на это произведение. Но этого не случилось.

(Из книги Нины Берберовой «Курсив мой»)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга Виктора Кравченко «Я избрал свободу» нашумела в Америке и приобрела всеобщую известность.

Виктор Кравченко, в прошлом коммунист и крупный работник советского аппарата, воспользовался своей командировкой в Америку, чтобы порвать с советским режимом. Он стал невозвращенцем. Его книга, в которой с исключительной правдивостью освещается жизнь советской страны, правящих верхов и задавленных гнетом низов, сыграла немалую роль в формировании правильного отношения мирового общественного мнения в советскому тоталитарному режиму.

Виктор Кравченко не писатель и не журналист. Тем сильнее звучит его простой и правдивый разсказ о советской стране, в которой он был не рядовым исполнителем, а принадлежал к коммунистической элите. Кравченко ничего не приукрашивает, ничего не добавляет и ничего не убавляет из того, что он видел и пережил. Его честная и правдивая книга — это освещение пути, по которому даже убежденный коммунист, если он правдивый и честный человек, неизбежно приходит к отрицанию коммунизма и к борьбе с ним. В этом и есть великое значение Кравченко, в которой автор показал, что даже коммунистическая элита, выросшая из народа и не потерявшая честности и мужества, уходит от Сталина, от его окровавленного политбюро, от насилия и произвола, чинимого в стране самой страшной и невиданной по жестокости диктатурой.

К сожалению, мы не в состоянии, по техническим причинам, издать книгу В. Кравченко на русском языке. Мы даем лишь сокращенный перевод этой книги, которая еще многих наших соотечественников заставит выбрать для себя свободу, по примеру Кравченко.

Издательство надеется, что сокращенный перевод книги В. Кравченко — «Я избрал Свободу» будет прочитан каждым русским, и не только русским, кто задумывается над судьбами родины, растоптанной коммунистическим сапогом.

Первая глава книги посвящена бегству Кравченко из советской миссии. Глава 2–5 посвящены описанию детства и юности автора книги и охватывает период до 1931 года. В главе 6 описаны годы пребывания в институте. Глава 7-я отведена описанию порядков на заводах в начале 40-х годов. 8-я и 9-я главы посвящены описанию насильственной коллективизации на Украине, куда Кравченко посылался в качестве уполномоченного партии.

Первый наш отрывок мы берем из главы 14-й, в которой Кравченко описывает кровавую чистку партии 1936—38 г.

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

Мы возвращались домой с заседания горкома партии. Мой приятель, сидевший рядом со мной в автомобиле, неожиданно сказал мне.

«Виктор, крепко ли сидит твоя голова?»

«Что ты имеешь в виду?»

«Я хочу сказать, что скоро полетит много голов».

«Но что может случиться с моей головой? Я не оппозиционер и никогда им не был. Я занят своей работой и не вмешиваюсь в политику».

«Блажен, кто верует. Живи и учись».

Его слова были шутливыми, но тон его был необычайно серьезен.

«Давай, пройдемся. Сегодня такой прекрасный лунный вечер», предложил я, беря его за локоть. Мы вышли из машины. В стране, где слишком много стен имеют уши и где шоферы обычно работают в секретной полиции, безопаснее всего разговаривать идя пешком.

«В чем дело? Говори откровенно», попросил я его.

«Москва потеряла голову и в Ленинграде, говорят, не лучше. Арестовывают тысячами. Коммунистов и беспартийных забирают прямо с работы, на глазах у всех. Около десятка наиболее ответственных партийцев, которых я знал в Москве, таинственно исчезли. НКВД добирается до верхушки, забирая народных комиссаров, директоров трестов, даже работников Кремля».

«Все растеряны и поражены. Все парализованы страхом. Некоторые товарищи уверены, что Зиновьев и Каменев будут убиты и что за ними последуют другие, много других. Этому трудно поверить. Это бессмысленно. Но это так. С ними поступят как с белогвардейцами и кулаками».

«Кто же будет следующим?»

«Я тоже об этом думаю. Но, видимо, ни для кого из нас не будет пощады. Я хочу сказать, что осторожность не спасет ни тебя, ни меня. Два наших инженера, — он упомянул фамилии, — схвачены прошлой ночью. Считается большим секретом. Директору Брачко приказали послать их в Москву на определенном поезде. В Запорожье представители НКВД сняли их с поезда и увезли в закрытой машине. Случайно один мой приятель был на вокзале и видел все это. Дела теперь пойдут быстро. Только наблюдай!»

И они действительно пошли быстро.

* * *

Неделю или две спустя у меня оказалось какое то дело к заместителю Брачко, члену партии Алексею Сухину. Я быстро вошел в его приемную и собирался пройти прямо в его кабинет. Но его секретарь остановил меня.

«Пожалуйста подождите, товарищ Кравченко. Товарищ Сухин очень занят».

«Я тоже», ответил я раздраженно и ворвался в его кабинет.

Я остановился на пороге. Сухин сидел за своим письменным столом и рядом с ним сидел толстый Гершгорн, отвисшие губы которого были сложены в насмешливую улыбку. Вдоль стен, слева и справа сидело десять или двенадцать инженеров, некоторые из них члены партии. В смущении я поздоровался со всеми. Ответил только Сухин. Тогда я заметил, что около инженеров стояло четыре вооруженных энкаведиста.

В смущении я вышел и направился в кабинет Брачко.

«В чем дело, Петр Петрович?» спросил я.

«Я больше ничего не понимаю. Двенадцать человек в один день. Восемь вчера! Если это продлится… Но у меня голова идет кругом, Виктор Андреевич».

За одну ночь Брачко превратился в старика. Его глаза были неестественно расширены и полупьяны.

Из его кабинета я прошел в бухгалтерию, где мне нужно было получить некоторые данные. Я оставался там около десяти минут. Внезапно, один из сотрудников, сидевший около окна воскликнул: «Боже мой! Посмотрите!»

Мы все бросились к окнам. Перед зданием стояла одна из мрачных закрытых машин НКВД, которые в народе называли Черными Воронами. Инженеры и техники, которые были собраны в кабинете Сухина, сейчас выходили из дверей. Одного за другим их вталкивали в машину чекисты с обнаженными револьверами.

Пока мы наблюдали за этим, мы были поражены пронзительным женским криком, — затем снова наступила тишина. Жена одного из арестованных, работавшая тоже на нашем заводе, подошла к окну, ничего не ожидая и увидела, как ее мужа вталкивали в черный ворон. Она закричала и потеряла сознание.

Когда все инженеры были погружены, дверь автомобиля была заперта на засов и машина поехала. Гершгорн и его сотрудники сели в элегантную легковую машину, которая последовала за первой. Десятки людей стояли у окон конторы, глядя растерянно на следы машин, оставленные на снегу.

ОТРЫВОК ВТОРОЙ

Атмосфера на никопольском комбинате становилась с каждым днем все более напряженной. Секретарь парторганизации Козлов был «переведен» в Кривой Рог и мы скоро услышали, что он был арестован. Один представитель администрации за другим исчезал с работы и их мнимая «болезнь» оказывалась длительной.

Рядовые рабочие сначала относились безразлично к этим событиям. Но теперь начали исчезать мужчины и женщины, стоявшие близко к ним, их товарищи по цеху, рабочие. Паника стала такой общей, что она сильно отражалась на производственных показателях. Мораль завода была потрясена.

Когда было созвано специальное совещание активистов Никополя, мы пошли туда с упавшими сердцами. У дверей наши документы были тщательна проверены, хотя мы все знали друг друга. Старого чувства товарищества более не было на таких собраниях. Несколько месяцев ранее можно было бы слышать громкие приветствия. «Здорово, товарищ Кравченко!» «А, вот и ты, старая перечница!» Был бы товарищеский обмен сплетнями, анекдотами, цеховыми делами, разговорами о делах партии. Сейчас было только напряженное молчание. Все держались в стороне друг от друга, как бы опасаясь смертельной заразы. Спасайся, берегись! Избегай соседей! Казалось что слышишь эти слова отовсюду.

Товарищ Бродский, секретарь горкома, обычно такой решительный и энергичный, выглядел сейчас так, как будто он долгое время не спал. Его глаза опухли и руки дрожали. Его голос звучал глухо, как если бы он говорил в мегафон. Мало кто из нас подозревал тогда, что это было его последнее публичное выступление; что скоро всесильный и торжествующий Бродский будет брошен в подвал НКВД, вместе со многими другими.

Нас созвали, заявил Бродский, чтобы мы выслушали секретное письмо ЦК. Он прочитал его медленно, с выражением, стремясь подчеркнуть свое полное одобрение. Это было за несколько дней до приговора и казни Зиновьева, Каменева и других. Цель этого московского сообщения была очевидно в том, чтобы предупредить партию об ударе и вселить страх в любое скептическое сердце.

Назначение письма было достаточно ясно. По аудитории прошла дрожь. Как в прошлом мы искали «врагов» среди всего населения, так теперь мы должны искать их среди наших собственных рядов! В будущем мерилом будет количество ваших доносов на ваших ближайших товарищей.

Мягкотелые и слабохарактерные, которые поставят личную дружбу выше интересов партии должны будут испытать последствия такого «двуличия».

Бродский долго говорил о важности этого секретного письма. Как будто вся его жизнь зависела от количества и напыщености эпитетов, так старательно он именовал Сталина гением, солнцем нашей социалистической родины, мудрым и непогрешимым вождем. Я вонзил ногти себе в ладони, пока на них не выступила кровь.

Другие попросили слова, чтобы обвинять себя и никопольскую партийную организацию в «отсутствии бдительности» и в «нерешительности перед лицом опасности». Было множество товарищей, желавших показать себя, обелить себя, спасти себя. Посреди этого потока грязного словопрения, произошло движение около дверей. Мы все обернулись.

Прибыл товарищ Хатаевич, секретарь обкома и член ЦК ВКП(б). Он проходил по трибуне, окруженный чекистскими телохранителями, это была новость, пожалуй самая страшная из всех: телохранители и револьверы на собрании активных членов партии! Защита вождей от «лучших из лучших» всего народа.

Хатаевич выглядел утомленным. Его лицо посерело и было испещрено морщинами и его голос доходил, как будто издалека. Его речь следовала общим линиям московского письма. Но он не мог скрыть своего подавленного состояния. Слушая его я вспомнил сцену на «поле пшеницы», когда тот же самый Хатаевич благодарил меня за досрочное выполнение плана и внушал мне необходимость понять нужду «твердой» политики; наши встречи в областном комитете. Он был тогда так крепок, так уверен в себе…

С этого момента стало делом «чести» доносить и разоблачать «скрытых врагов» партии. Вы боялись говорить с вашими ближайшими друзьями. Вы отстранялись от друзей, родственников и сотрудников. Что если они были заражены, были носителями бацилл страшной эпидемии, охватившей всю страну. Вы забывали, что когда то на свете существовали такие вещи, как откровенность, преданность, дружба.

Падение любого вождя или ответственного работника означало, что все его ставленники и приближенные будут подвергнуты чистке. После ареста Бродского, «Черные Вороны» и закрытые автомашины НКВД увозили его помощников, друзей, мужчин и женщин, которых он где либо определил на работу в Никополе. Был посажен комендант никопольского гарнизона, затем местный прокурор и весь его штат; наконец даже председатель никопольского совета. Местный банк, газеты, все

коммерческие предприятия были «прочищены». Всюду власть перешла к новым людям и часто в течении недели или месяца эти были, в свою очередь, схвачены. Люди шопотом рассказывали об аресте председателя совета, высшего представителя гражданской власти в городе. Он был в прошлом горняком и имел большие заслуги во время гражданской войны. Его разбудили среди ночи. Его жена и дети плакали так громко, что разбудили соседей.

«Я представитель советской власти в Никополе», кричал председатель на людей в формах. «Вы не имеете права арестовывать меня! Покажите ваше предписание!»

«Поворачивайся, грязный пес! Мы покажем тебе, у кого здесь права,» заревел чекист, производивший арест и вытолкнул его из дверей.

После ликвидации председателя, было удалено большинство руководящих лиц города, среди них начальник коммунального правления, начальник пожарной охраны, директор сберегательной кассы, даже начальник санитарного управления. Некоторые были взяты ночью из домов, другие открыто на работе.

На место Козлова прибыл новый человек, по фамилии Лось. Он был сухим и бесчувственным фанатиком. В яростной охоте за уклонистами исчезли все последние остатки товарищества между нами. Встречаясь на улице или в коридорах, мы, технические и партийные работники, смотрели друг на друга с удивлением. «Как! Вы еще живете», говорили наши взгляды.

В помещении НКВД на одной из главных улиц все время горел свет, каждую ночь и всю ночь, эта организация работала двадцать четыре часа в сутки. Ее дела процветали. Дороган, Гершгорн и их помощники были в превосходном настроении; усталые, но возбужденные — генералы в сражении, которое блестяще разворачивалось. Арестованных долго не держали. В конце концов, Никополь был только маленьким отделением громадного предприятия. Их отправляли в Днепропетровск, из Днепропетровска в Харьков, в другие центры, чтобы очистить место для все новых и новых.

Никополь был только маленьким участком громадного поля деятельности сверхчистки. Инструкции из нашего треста, из Главтрубостали и из Наркомата в Москве подписывались все новыми и новыми именами. Хатаевич и многие его сотрудники в обкоме были арестованы; Хатаевич был достаточно важной фигурой, чтобы наша местная пресса уделила ему половину колонки в газетах. Везде было то же самое. Было невозможно уследить за потоком сенсаций, трагедий, неожиданностей. Самые фантастические слухи не могли идти в сравнение с действительностью.

На страницах 215–277 Кравченко описывает свою личную трагедию в 1936–1938 годах и рассказывает во всех подробностях, как НКВД начало поход против него и как его мучали на безконечных ночных допросах начальник никопольского отделения НКВД Дороган и начальник местного промышленного отдела НКВД Гершгорн. Дело против Кравченко было начато НКВД по обвинению в том, что его отец был меньшевиком, а сам он проводил вредительскую деятельность на никопольском комбинате, выразившуюся в покупке за границей ненужного оборудования на миллион рублей в валюте. В этом случае НКВД решил сначала изгнать Кравченко из партии, а потом его арестовать, как вредителя и врага народа. В такой постановке дела и было спасение Кравченко. Он смог достать достаточные документальные данные, опровергавшие обвинение и Гершгорн не смог его «ликвидировать» так, как ему хотелось. Три раза вопрос о Кравченко разбирался по требованию НКВД в различных партийных инстанциях и три раза ему удавалось себя реабилитировать. Но несмотря на такой поворот дела и несмотря на его формальную невиновность, НКВД продолжал его травлю до самого конца 1938 года, когда Кравченко удалось перевестись из Никополя. Ниже приводятся наиболее интересные отрывки из этих глав его книги.

ОТРЫВОК ТРЕТИЙ

Благоприятный ход моего дела был исключением. Чистка свирепствовала по всей России. Показательный процесс Радека, Сокольникова, Пятакова и других старых большевиков подготовлялся в Москве. Семь дней подряд все страницы газет были заполнены кошмарными «признаниями» этих людей. Затем последовали неизбежные приговоры и казни.

На нашем заводе, как и в каждом учреждении страны, были проведены массовые митинги для прославления уничтожения этих саботажников, шпионов и «бешенных собак». Лось поставил на голосование заранее сфабрикованную резолюцию.

«Мы рабочие, служащие и инженерно-технический персонал металлургического завода в Никополе приветствуем решение советского суда по делу врагов народа, — «провозгласил он. — Бдительность партии и правительства искоренила шпионов и диверсантов, капиталистических агентов, которые угрожали счастливой жизни нашего народа под солнцем сталинской конституции. Да здравствует наш любимый вождь и учитель, товарищ Сталин!» Тысячи мужчин и женщин послушно подняли руки. Оркестр играл «Интернационал». Красные плакаты на стенах кричали этим утомленным, голодным и апатичным массам о их «счастливой жизни». Некоторые зевали, другие засыпали, пока ораторы пересказывали сегодняшние передовицы, в свою очередь пересказывавшие передовицы московских газет. Наконец, ритуал был закончен и люди вернулись на работу или по домам. Они не были убеждены и не особенно заинтересованы.

Быть может кто-нибудь в России и верил честно в эти фантастические «признания», но я таких не встечал. Только когда, много лет спустя, я попал заграницу, я узнал, что многие иностранцы и в частности «либеральные» американцы поверили в этот отвратительный спектакль; что капиталистическая фильмовая компания действительно сфабриковала глупый и безграмотный фильм, основанный на предположении, что сказки НКВД были правдой.

Среди подсудимых последнего московского процесса я лучше других знал Пятакова, посколько он был первым заместителем Орджоникидзе. Я лично посещал его по служебным делам много раз и присутствовал на заседаниях, которыми он председательствовал Он был высокий, солидный человек с длинной бородой и высоким лбом мыслителя. Его решения были всегда обоснованы и честны. Он никогда не удовлетворялся суждением вторых лиц о техническом процессе, но всегда

производил многократную проверку, прежде чем выносил какое либо решение.

Я знаю, что Пятаков не имел ни малейшего сходства с тем «преступником», который был обрисован на суде или с тем глупым болтуном, которого я позже увидел с удивлением в странной американской книге, под названием «Моисея в Москве». Вследствие моей работы и моих технических связей, я встречал буквально сотни людей, близко связанных с промышленностью и в частности с теми заводами, на которых будто бы проводился «саботаж» Пятакова. Ни один из них, конечно, не верил ни одному слову из обвинения, хотя многие из них оправдывали суды по политическим причинам.

Признанный самим Пятаковым «саботаж» производился, главным образом, по строительной промышленности. Непосредственно руководил всей строительной работой, под руководством Пятакова, некий Ц. З. Гинзбург, начальник Главстроя при Наркомтяжпроме. Каждая деталь работы проходила через руки Гинзбурга. Чтобы саботаж большого масштаба, предъявленный прокурором Вышинским, мог проводиться без ведома Гинзбурга, было физически невозможно.

Однако, Гинзбург не был арестован. Его имя старательно обходилось на процессе, находившихся под его прямым руководством, разбирались во всех подробностях. А после суда Сталин назначил его Наркомом строительной промышленности. Последний раз, когда я видел Гинзбурга, его грудь была украшена медалями, звездами и орденами. Внутри нашей промышленности считалось, что Гинзбург сыграл роль главного провокатора и что его выдающаяся работа в этом направлении легла в основу обвинительного заключения. Он был закулисным руководителем прокурора Вышинского.

Второй человек, который фигурировал на процессах и которого я знал лично, был Николай Голубенко. Он был казнен в Харькове, без формальности суда. Ему была приписана фиктивная роль организатора «террористического центра», имевшего целью убийство членов Политбюро. В частности он будто бы признался в участии в заговоре на убийство члена Политбюро Коссиора и секретаря ЦК КП(б)У Постышева. Скоро после расстрела Голубенко за это «преступление», НКВД арестовал и Коссиора и Постышева. Растерянные члены партии могли только предполагать, что эти два близких соратника Сталина сотрудничали с Голубенко в деле собственного устранения.

В свое время Голубенко был директором комбината им. Петровского в Днепропетровске. Я часто виделся и разговаривал с ним. Он был мужественный и откровенный человек и его

действительное «преступление» заключалось в том, что он протестовал против продолжающегося пролития крови. Когда я встретил его в последний раз — он был тогда председателем днепропетровского совета, — он уже знал, что он конченный человек — живой труп. Только это может об'яснить откровенность, с которой он говорил со мной.

Погром коммунистической партии, сказал он мне, был только последним шагом в деле ликвидации всякого независимого мышления и даже независимых чувств в нашей стране. Сталин, сказал он, проводил сознательную контр-революцию: остатки власти, сохраняющейся еще у Центрального Комитета партии, остатки престижа и общественной популярности, все еще сохраняемые тем поколением, которое сделало революцию, будут выкорчеваны, оставляя Политбюро, т. е. Сталина, абсолютным диктатором.

Голубенко, Пятаков, может быть Коссиор и Постышев, были «виновны» только в том смысле, что они не хотели послушно преклоняться перед сталинским абсолютизмом. Безимянные миллионы членов партии и безпартийных, ликвидированных во время сверхчистки не были повинны даже в этом «преступлении». Годом позже я с ужасом узнал, что заграницей какие то критины и дураки описывали жертвы ее как «пятую колонну». «Пятая колонна» в девять или десять миллионов, включая 60 до 80 процентов руководящего состава партии, комсомола, армии, правительства, промышленности, сельского хозяйства и национальной культуры, — это ли не доказательство абсурдности такого фантастического предположения.

На Пятаковском процессе обвиняли некоего Шестова в подготовке убийства секретаря Сибирского крайкома партии П. Эйхе. Шестов был казнен, а скоро после этого его мнимая жертва, Эйхе, был арестован. Помощник прокурора Вышинского, Матулевич, проделал безпощадную и жестокую работу по подготовке обвиняемых к растрелу. Скоро после суда сам Матулевич был ликвидирован. Весь процесс был состряпан Генрихом Ягодой, безжалостным начальником НКВД, но вскоре сам Ягода и его главные помощники были, в свою очередь, арестованы и растреляны. Большинство лиц, составлявших сталинскую конституцию, были также мертвы или арестованы. Скоро выдающиеся руководители Красной армии, включая известного Тухачевского, были «осуждены» за закрытыми дверями и растреляны; несколько позже их «судьи» были, в свою очередь, растреляны. «Пятая колонна», очевидно, включая всех, за исключением Сталина и Молотова.

ОТРЫВОК ЧЕТВЕРТЫЙ

Смерть Орджоникидзе лишила Кравченко защиты. Кравченко подробно рассказывает об обстоятельствах, сопутствовавших смерти «Серго».

Газеты опубликовали длинный некролог умершему комиссару, подписанный Сталиным и девятнадцатью другими верховными вождями. Политбюро назначило специальный комитет из семи выдающихся деятелей промышленности и правительства для организации официальных похорон. Четыре выдающихся врача удостоверили, что покойный умер от «паралича сердца». Эти цифры запечатлелись в моей памяти, где они отмечают ужасную, политическую арифметику того периода: еще не прошло и года, как только девять из двадцати подписавших некролог оставались в живых и на свободе. Остальные были расстреляны, покончили жизнь самоубийством или гнили в тюрьмах. Из семи членов траурного комитета остались в живых или на свободе только двое; трое были казнены, один покончил самоубийством, а пятый был заживо погребен в колонии принудительного труда. Из четырех врачей выжил только один и тот жил под постоянным страхом ликвидации.

Зачем было нужно оффициальное удостоверение смерти вождя? Потому что русский народ и члены партии более не верили, что человек, стоящий у власти, может умереть естественной смертью. Многие стали циничными в это время, в результате странных событий. Таким событием, например, была смерть, несколько лет тому назад, молодой жены Сталина, Надежды Аллилуевой.

В то время были сделаны значительные усилия, чтобы скрыть обстоятельства ее внезапной смерти. Но все равно, многие из сенсационных фактов стали известными, во всяком случае в высших кругах.

Аллилуева была дочерью старого революционера и очевидно сохранила его устарелые гуманитарные предрассудки против массового террора. Жестокая коллективизация была больше, чем она могла вынести, даже от отца ее двух детей. Она не ограничила своего выражения ужаса семейным кругом, но неоднократно осуждала политику своего мужа на партийных собраниях Академии, где она проходила технический курс.

Простого упоминания подобных фактов было достаточно, чтобы упрятать человека в тюрьму, но они, все же, циркулировали в кругах высшей бюрократии, где скандалы, сенсации и интриги

были также часты, как и при старом романовском дворе. Когда была об'явлена смерть Аллилуевой, сомневались только в том, покончила ли она сама с собой или была отравлена по приказу Сталина.

Так и теперь, несмотря на свидетельство четырех врачей, были широко распространены сомнения относительно смерти Орджоникидзе. Случайно я знаю некоторые действительные обстоятельства. Время еще не пришло, когда я смогу обнародовать источник моей информации, потому что это означало бы мучения и смерть для этих людей. Но я считаю своим долгом кратко упомянуть об этих фактах, т. к. последние годы этого народного комиссара были так тесно связаны с моей жизнью.

Орджоникидзе давно страдал от острой астмы и поврежденной правой почки. Он часто шутил над своими страданиями. Несколько раз я видел его изнеможенного, после напряженной работы при страшных болях, почти до потери сознания. Когда в 1936 году началась сверхчистка, выметая тысячи его ближайших друзей и сотрудников по партии и тяжелой промышленности, он заявил Сталину протесты, устраивал бурные сцены на заседаниях Политбюро, сражался, как тигр, с НКВД. Его здоровье стало ухудшаться. Удар от ареста Пятакова, его ближайшего помощника, резко повлиял на его здоровье.

Один мой друг был в его кабинете, когда кто то принес ему известие об аресте выдающегося инженера, директора одного из подчиненных ему больших трестов. Комиссар побагровел от ярости, глаза его сверкали, он ругался и клял всех так, как может ругаться только темпераментный грузин. Ягода, глава НКВД, и главный архитектор первых больших чисток, был к этому времени уже расстрелян. Новым начальником советской инквизиции был ненавидимый Ежов. Орджоникидзе позвонил Ежову и непередаваемым языком потребовал, чтобы тот ему сообщил, почему этот инженер был арестован без его разрешения. «Ты, маленький недоросль, ты, грязный паразит», слышал мой друг, как кричал комиссар, «как ты посмел! Я требую чтобы ты послал мне документы об этом деле, все и немедленно!»

Потом он позвонил Сталину, по прямому проводу, который соединял основных вождей диктатуры. К этому времени его руки тряслись, его глаза были налиты кровью и он держался за то место в спине, где болела его почка.

«Коба», услышал мой друг, как он ревел в телефон — Коба, это уменьшительное имя Сталина — «почему ты позволяешь НКВД арестовывать моих людей, не известив меня?»

Было долгое молчание, пока Сталин говорил на другом конце провода. Затем Орджоникидзе прервал:

«Я требую, чтобы это своеволие прекратилось! Я все таки член Политбюро! Я подниму страшный скандал, Коба, если даже это будет последнее, что я сделаю перед смертью!»

Два дня спустя, к полной неожиданности для семьи и лечивших его врачей, Орджоникидзе умер. Есть такие, которые считают, что в момент отчаяния он принял яд. Есть другие, которые считают, что его отравил доктор Левин, — тот самый врач, который позже признался в отравлении Максима Горького.

ОТРЫВОК ПЯТЫЙ

В поисках защиты, я приехал в Москву к старому товарищу моего отца, товарищу Мише. Миша был известный старый революционер и сейчас работал в Обществе бывших царских политических заключенных. Правительство дало ему хорошую квартиру и пенсию достаточную для того, чтобы скоротать остаток его дней. Он сражался на баррикадах вместе с моим отцом. Он провел более десяти лет в цепях в Александровском централе, пока не был освобожден революцией. Товарищ Миша и его жена всегда относились ко мне как к сыну и они сейчас с радостью приняли меня, хотя были испуганы моей бледностью и бегающим взором.

«А как мой дорогой Андрей? Все еще ворчит?»

«Да, папа здоров и как всегда возмущается жизнью и событиями».

«Мы живучи, наше поколение. Я бы хотел с ним повидаться, чтобы поговорить о прошлом».

За обедом я рассказал ему, что привело меня в Москву. Я не скрыл ничего. Товарищ Миша лично знал Ленина, Бухарина и других гигантов революции. Он был на ты со всеми нынешними вождями, начиная от самого Сталина. Вдова Ленина, Крупская, часто встречалась с ним. С ним обращались, во всяком случае до периода сверхчистки, нынешние вожди как со своим человеком.

Когда я рассказал ему мою историю, особенно об обвинениях против моего отца, его товарища по баррикадам, старый Миша пришел в ярость. Он оттолкнул свой стул и бросился в кладовую, откуда вытащил тяжелую, ржавую цепь. Он поднял звенящий металл обеими руками над своей седой головой и потрясал цепью в бешенной ярости.

«Я носил эти кандалы десять лет, потому что я верил в правду, в справедливость, в лучшую жизнь!» кричал он. «А сейчас опричники, которые называют себя революционерами, мучают наших детей! Будь они прокляты! Будь прокляты садисты, заливающие кровью Россию!»

ОТРЫВОК ШЕСТОЙ

12 декабря 1937 года я стоял в длинной очереди и наконец получил свой бюллетень для «тайного голосования». Он содержал единстренный список имен, определенных партией. Там даже не было места для слов «да» и «нет»; не было места для написания других имен. Нас инструктировали, что если мы были против кого либо из списка, мы имели право вычеркнуть его имя. В закрытой кабинке я запечатал конверт и бросил его в ящик. Среди пяти тысяч избирателей нашего завода вероятно не нашлось ни одного, кто осмелился бы вычеркнуть хоть одно имя. Пресса ликовала по поводу этого единогласного одобрения «счастливой жизни».

День выборов был праздником, днем для собраний и развлечений. Гершгорн отпраздновал этот день, заставив меня несколько часов простоять в корридоре и будучи особенно грубым при допросах. Из его вопросов я заключил, что Иванченко был обвинен во вредительстве в трубопрокатной промышленности и что для завершения картины, созданной НКВД, было нужно, чтобы я «признал» себя «виновным» в сотрудничестве.

«Я честно не могу сказать вам больше, чем я знаю», повторил я.

«К черту с вашей честностью. Мне нужны факты, а не ваша дурацкая честность. Какой позор, что мы не посадили вас в свое время. Вы были бы сейчас шелковым».

Мое сопротивление подходило к концу. Я жаждал конца этого длительного мучения, почти любой ценой. Иногда мне казалось, что я погружаюсь в страшный кошмар на яву. Я подписываю свою фамилию большими бувами… Оркестр играет «Интернационал»… Меня с торжеством несут в большую, мягкую постель, а около меня мама и Наташа… Знали это мои мучители или нет, но я был готов сдаться. Еще одна или две недели этих допросов, еще одно или два избиения и я бы сдался, принял бы на себя последствия; увы, я не был сделан из стали.

ОТРЫВОК СЕДЬМОЙ

В следующие несколько дней аресты на заводе еще усилились. Каждый раз, когда казалось, что погром утихает, пауза оказывалась только прелюдией к новой вспышке. Тормоза полностью отказали после смерти Орджоникидзе. Его преемник — Каганович не имел решимости и мужества Орджоникидзе. Он «сотрудничал» и аресты инженерно-технического персонала резко усилились. Среди удаленных в этот раз находился Мирон Рагоза, коммерческий директор нашего комбината. Его жена и приемная дочь были выселены из квартиры.

В первую неделю января Гершгорн положил передо мной новый документ. Это было «добровольное заявление», т. е. признание. Это было длинное и хитроумное заявление, полное недосказанных и уклончивых признаний. Преступления моих друзей, начальников и подчиненных были описаны прямо; моя собственная ответственность была отмечена легко, почти случайно. Это было расчитано, чтобы сделать капитуляцию более легкой, более соблазнительной.

«Поймите пожалуйста», сказал Гершгорн, пока я читал страницу за страницей эту техническую сказку, «что это абсолютной минимум того, что НКВД ожидает от вас. Здесь нет места для торговли. Если вы не согласитесь, вы об'являете войну НКВД и вы ее не вынесете. Вы подпишете пером или карандашем?»

«Ни тем не другим.»

«А я говорю, что ты подпишешь, ты, саботажник. Так как подписал Бычков, так как подписал Иванченко».

«Делайте что хотите. Я не признаюсь в преступлениях, в которых я не виновен». Гершгорн вдруг вскочил в припадке ярости и бросился на меня, крича «саботажник, вредитель, негодяй. Получай… и еще… и еще…» Его мощные кулаки били меня в лицо, как два поршня. Кровь брызнула у меня из носа. Я услышал, скорее чем увидел, как Дороган ворвался в комнату. Мои нервы научились узнавать его тяжелые шаги. Он тоже начал бить меня кулаками. Я упал на пол и свернулся в клубок, как бы заворачиваясь в свою собственную кожу, в то время как четыре тяжелых, жестких сапога топтали и пинали меня.

Я стонал от боли. Гершгорн должен был вызвать охранников, которые подняли меня. «Уберите эту сволочь. Выкиньте его вон!» Когда меня тащили к двери, я почувствовал, как он еще раз ударил меня кулаком в затылок. Часовые вытащили меня в маленькую комнату, где меня оставили зализывать мои раны. Я

просидел там час или два.

Затем вошел Гершгорн.

«Ну, обдумали ли вы, или вас надо еще убеждать?

«Нет, я не подпишу. Вы можете меня убить, но я не подпишу».

«Я даю тебе три дня на размышления. А теперь убирайся!

И так я вышел. Но мой партийный билет был все еще в моем кармане…

Я оказался на улице, на которой свирепствовала снежная буря. Снег хлестал меня по раненому лицу, как тысячи кнутов. Я доплелся до гостинницы. В вестибюле мое сознание механически схватило слова большого плаката, оставшегося от выборов: «Сплотимся вокруг Сталина за счастливую жизнь!»

Я свалился на постель, не снимая одежды. Куда бы я не поворачивался, я видел на стене портрет Сталина. Я думал не о физической боли, не об унижении. «Итак, теперь, товарищ Сталин», я говорил портрету, «наше знакомство закончено. Не осталось ничего недосказанного. Всё ясно. Привет, товарищ Сталин!»

Восьмой и девятый отрывки из'яты из книги по цензурным соображениям.

ОТРЫВОК ДЕСЯТЫЙ

Атмосфера в Москве в этот момент могла только способствовать углублению моего пессимизма, это была вторая неделя марта 1938 года; неделя, когда происходил третий и самый сенсационный из всех кровавых процессов этой чистки. Стране сообщались самые фантастические обвинения против отцов Революции и их еще более фантастические «признания». Все это казалось совершенно невероятным, т. к. в числе обвиняемых были Бухарин, Рыков, Крестинский и другие, имена которых были тесно связаны с именем Ленина.

Николай Бухарин, блестящий писатель, аскет, «большевистский святой», был особенным кумиром коммунистической молодежи моего поколения. Я вспоминал нашу встречу с ним в кабинете Орджоникидзе и последующие встречи в его собственном кабинете. Даже после его опалы и исключения из Политбюро, его появление на митингах и собраниях вызывало почти такие же овации, как и появление самого Сталина. Алексей Рыков был заместителем Ленина на посту председателя Совнаркома. У него была голова фанатика со всклокоченной бородой и горящими глазами; даже его известная слабость к бутылке не уменьшала его популярности. Сейчас эти люди, и другие подобные им, чернили себя и развенчивали себя в наших глазах. Сейчас их расстреливали как шпионов, агентов капитализма и изменников.

Я могу утверждать, что никто из тех, кого я видел в Москве, не придавал ни малейшего значения их признаниям, эти люди были вынуждены послужить марионетками в политической постановке, не имевшей никакого отношения к истине. Сталин уничтожил своих личных противников и ему удалось заставить их участвовать в своем собственном унижении и казни. Нас поражала техника этого дела. Но даже от партийцев нельзя было ожидать веры в эти фантастические обвинения. Среди коммунистов это бы равнялось признанию сверхестественного идиотизма. В большинстве случаев мы принимали эти фантастические версии в символическом, аллегорическом смысле.

Старый товарищ Миша, которого я посетил в эту поездку, был совершенно сломлен. Он близко знал казненных вождей до и после революции. Его об'яснения их признаний, хотя и далекие от удовлетворительности, были самым логичным об'яснением этого явления, из всех, которые мне пришлось слышать. Оно было основано на информации, полученной им от его многих друзей в

Кремле.

«Начать с того, Витя,» сказал он, «что ложь остается ложью, независимо от того, сколько человек в ней признается. Давай забудем критику. Бухарин, Рыков и другие, несмотря на свое героическое прошлое, были все же только людьми. Ты сам мне говорил, как близок ты был к подписанию множества выдумок, под давлением в Никополе. Но то, через что прошел ты, было детской игрой по сравнению с моральными и, возможно, с физическими мучениями, примененными против этих вождей».

«Но ведь эти самые люди стойко держались против преследований и угроз царской полиции, товарищ Миша!»

«К несчастию, здесь не может быть сравнения. Царская охранка была слишком примитивной, не такой научной, не такой дьявольски умной, как нынешняя система. Я не знаю, сколько старых революционеров удержалось бы, если бы охранка применяла к ним научный садизм НКВД».

«Кроме того, есть еще одна вещь и такая же важная, Витя. В старые дни у этих людей была глубокая вера, которая поддерживала их. Люди могут пожертвовать собой, — и что еще более важно, — теми, кого они любят, для глубокой веры и страстной надежды. А что может их поддержать при пытках НКВД? Ни надежда, ни вера. Они были разочарованными людьми. Дело всей их жизни лежало вокруг них в развалинах, без надежды на восстановление его. Зачем играть роль героя в мертвом деле? Зачем продолжать борьбу, когда нет ни малейшего проблеска надежды? Попробуй понять это и ты начнешь понимать, почему вчерашние герои становятся мягкими, покорными и лишенными всякого достоинства».

«Верите ли вы разговорам о сговоре между обвиняемыми и обвинением?»

«Я верю, что это факт, и ты должен понять, что я базирую эту веру на достаточно интимной информации. Ты знаешь, что НКВД редко ликвидирует человека, не ликвидировав также и его семьи. Можешь ли ты признать случайностью, что дочь Рыкова, которую он любил больше всего на свете, остается живой и на свободе? Или что отец Бухарина, жена Розенгольца и другие близкие родственники не были тронуты? Я считаю несомненным, что эти люди клеветали на себя, — играли предназначенную для них роль, — чтобы спасти тех, кого они любили.

«Позволь рассказать тебе, что я знаю от товарищей, стоящих близко к Ежову. Сценарий для этого спектакля был разработан НКВД по личному приказанию Сталина. Каждый актер — прокуроры, обвиняемые, свидетели, судьи — знали наизусть свою роль до поднятия занавеса. Те из обвиняемых, которые не желали

сотрудничать, были убиты без суда. Остальным заплатили жизнями их детей, жен, родителей, близких друзей. В дополнение им обещали, что им будет дано право аппелировать к высшим инстанциям, даже в Политбюро. В таких обстоятельствах маленькая надежда может завести далеко.

«Но в случае Бухарина, Рыкова, Крестинского и нескольких других сговор был особый. Им обещали, что если они выполнят все, что им было предписано, то их смертные приговоры будут заменены простой ссылкой. Сталин даже играл на их тщеславии. Как может он позволить расстрелять их, говорил он, когда их имена имеют такой большой исторический вес?»

«Ну, жертвы выполнили свою часть соглашения. Сталин — нет. Очевидно, он даже не собирался этого делать. Казнь произошла через несколько часов после суда. Бухарин и Рыков умерли с проклятиями Сталину на устах. И они умерли стоя — не ползая по полу и не умоляя о пощаде, как Зиновьев и Каменев».

«А вот еще кое-что из внутренней информации. Сталин создал комиссию для написания новой истории партии. История будет пересмотрена, факты будут извращены, чтобы подтвердить фантасмагорию этих процессов. Ты и я будем смеяться над этими выдумками или плакать над ними. Но новое поколение растет без воспоминаний о прошлом. Сейчас уже идет чистка библиотек от всех старых книг или статей, которые противоречат глупым выдумкам этих процессов. Кошмар укоренится, как официальная истина. Ложь победит, эх, Витя, и за это я провел десять лет в цепях в сырых камерах царских тюрем…» В это время многие коммунисты находились во власти таких горьких дум и с отчаянием наблюдали, как в волнах террора гибнет старая большевистская гвардия, обреченная Сталиным на истребление. Наблюдали и молчали, безсильные что-либо сделать для защиты партии, которой отдали лучшие свои годы.

Таково было положение вещей в Москве, когда я выехал на Урал.

Когда я вспоминаю о своем пребывании на Урале, один эпизод выделяется из всех остальных. Он прямо связан с грандиозной кампанией по обману общественного мнения, проводившейся по всей стране, по приказу из Москвы, этот частный случай обмана был проведен так нагло, что до сих пор «великая победа на Ново-Трубном заводе» приводится, как пример чудес, совершаемых «социалистическим энтузиазмом». Как я уже говорил выше, Ново-Трубный комбинат находился ряд лет в глубоком прорыве и выполнял свои производственные планы только на 35–40 процентов. После прибытия новой администрации, вербовки большого контингента рабочих из

числа заключенных и сверх-человеческой работы всего персонала завода в течение нескольких месяцев, выпуск продукции был повышен до 80–85 процентов и прославлялся в Наркомате и на страницах «За Индустриализацию», как большой успех. Но сейчас кому то в Москве пришла мысль о том, чтобы мы повысили свои планы, т. е. подняли продукцию еще на двадцать с лишним процентов. Дело началось с шумного приезда к нам бригады активистов из Москвы, с инструкциями ввести стахановские методы на нашем заводе. Где есть желание, там находится и способ. Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. Добьемся этого дружной работой. Сплотимся вокруг нашего вождя и учителя, товарищи…

Перед от'ездом из Москвы бригада толкачей была принята комиссаром Лазарем Кагановичем, в присутствии представителей прессы. Они прибыли в Первоуральск, снабженные чрезвычайными полномочиями и сверкая полным невежеством в наших проблемах. Ритм производства, который я наладил с таким трудом, был немедленно сломлен. Бригада созывала массовые митинги и технические заседания и подвергала нас длительной агитационной накачке. Стены наших цехов и конторы, столовых и клубных помещений покрылись лозунгами. Больше никто не говорил: все кричали. Рабочие пожимали плечами и ничего не говорили обо всем этом шуме. Но инженеры и администрация сходили с ума. Только вчера нас поздравляли за достижение 85 процентов, — теперь от нас требуют уже 100. Мы сгибались под возложенным на нас грузом. Директор Осадчий ходил с вытянутым лицом.

«Мы должны сделать что-то решительное, Виктор Андреевич», вздыхал он. «Московская пресса поднимает большой шум по поводу этого стахановского спектакля и мы просто не можем потерпеть неудачи. Дело идет о моей и вашей голове».

Осадчий был типичным экземпляром заводского руководителя в нашей стране. Политик в нем всегда преобладал над инженером. Официальное одобрение интересовало его больше, чем действительная продукция; рекорды более, чем качество. То, чего ему нехватало в технических познаниях, он более чем уравновешивал «важными связями» в соответствующих инстанциях, это был сибарит с большой склонностью к свердловским девушкам.

«Но что мы можем сделать?» ответил я. «Вы знаете так же, как и я, что из завода невозможно выжать больше того, что мы уже получаем. Громкие слова не могут заменить инструментов и металла».

Но Осадчий был воодушевлен блестящим планом. Он

попросил меня дать ему подробные сведения о готовых трубах, лежавших на наших складах. Оказалось, что их было значительное количество. Так, например, имелась продукция, выработанная в предыдущие годы по специальным заказам. Я дал ему цифры.

Только позже я узнал, зачем ему была нужна эта информация и пришел в ужас. Осадчий, по согласованию с бригадой, послал специального агента в Москву, который вошел в секретное соглашение с Кожевниковым, теперешним начальником Главтрубостали. Кожевников, в свою очередь, заключил соглашение с Главметалснабом. Наш агент вернулся в Первоуральск с пакетом заказов на различные типы труб для разных предприятий страны. По удивительному совпадению, все эти заказы точно подходили к тем типам труб, которые лежали на наших складах. Нам нужно было только их почистить, смазать, запаковать и — причислить к нашей текущей продукции.

Это было откровенное жульничество. Но Осадчий, городской и областной комитеты партии, члены бригады, короче все, были в восхищении. И каждый делал вид, что он слеп. Только чекисты ухмылялись себе в кулак, зная, что этот обман отдавал в их руки головку нашего завода и всей области. Победа — не только 100 процентов, но любой процент, которого бы мы пожелали — была в наших руках.

Начался великий месяц, июнь. С самого начала ежедневная продукция была на блестящем «стахановском» уровне. «Продолжайте хорошую работу!» подстегивали нас телеграммы из Москвы. Мы это и делали; но ни слова не было сказано о том, что в некоторые дни более 25 процентов нашей продукции состояли из труб, взятых со склада. Мастера и рабочие, конечно, не были одурачены. Они читали ежедневные и недельные сводки… но они знали правду. Когда месяц подходил к концу, удовольствие заговорщиков начало смешиваться с беспокойством. Они были несколько испуганы своим делом, в частности тем большим шумом, который их «успех» вызвал в прессе и радио. Каждый из них понимал, что в один прекрасный день весь этот трюк может пасть на их головы, как «обман партии и правительства». Они сплотились — московские члены бригады и местные руководители — в чувства общей вины.

Я решительно отказался втянуться в их круг. Я решил, что, принимая все во внимание, я буду в большей безопасности, если не приму участия в этом жонглировании цифрами. В частности, я понимал, что искусственно высокие цифры продукции в июне создадут для меня невозможный стандарт на следующие месяцы. Поэтому, когда приближался конец стахановского месяца, я

собрал все необходимые документы и написал полный доклад, разоблачая эта жульничество. Я адресовал его наркому Кагановичу, Кожевникову и Главтрубостали, Осадчему и товарищу Довбенко, секретарю первоуральского горкома, оставив себе копию, как гарантию для будущего. Осадчий и Довбенко были потрясены. Они немедленно телефонировали своим сообщникам в Москву, в Главтрубосталь, как я узнал. Уверенные в поддержке сверху, они вызвали меня в горком.

«Вы сошли с ума, Кравченко», орал Довбенко. «Все идет превосходно, Каганович в восторге от нашего успеха, а вы хотите сорвать всю нашу работу. Какое значение имеет, что мы сделали тот или иной трюк, когда цель заключается в том, чтобы поднять дух рабочих масс? Разве у вас нет чувства долга?»

Он в гневе шагал по своему кабинету, Осадчий кусал губы, чтобы сдержать брань. «К сожалению, я не согласен с вами», сказал я. «Я не принимал участия в этом плане и я не собираюсь разделять ответственность. Я предупреждаю вас, что после того, как весь этот шум заглохнет, мы опять вернемся к старому уровню продукции и нас будут винить за то, что мы не сохранили июньского уровня». «Чорт возьми, мы пройдем по этому мосту, когда мы дойдем до него», заявил Довбенко. «Вы ступаете на опасный путь, Кравченко, ставя ваше мнение выше всех остальных. Вы дискредитируете бригаду, присланную Наркомом, членом Политбюро. Это игра с огнем».

«Иногда сверх-честность является сверх-глупостью», вставил Осадчий. «Мы должны иметь немного здравого смысла».

Я отказался взять назад свой доклад.

Скоро великий месяц окончился с великолепной общей продукцией в 114 процентов! Москва, Свердловск, Первоуральск ликовали. Сообщения о «великолепном триумфе Ново-Трубного завода» переполняли прессу. На утро первого июля я получил телеграмму из Москвы:

«Приветствуем с вашей большой победой. Разделяем ваше счастье. Уполномачиваем вас выдать премии отдельным рабочим. Уверены, что план будет теперь регулярно перевыполняться».

Корреспонденты летали из Москвы и мчались на автомашинах из Свердловска, чтобы описывать чудо стахановского движения. Ново-Трубный, который еще недавно держался вредителями на 35–40 процентах, теперь гордо высился на 114 процентах под руководством его преданного нового большевистского начальника, товарища Кравченко! Делегации с других заводов Первоуральска прибывали, чтобы приветствовать их победоносных товарищей. Везде была радость, но в моем сердце было отчаяние. Против моего желания, меня делали

участником этого жульничества и заставляли принимать за него благодарность и награды. За закрытыми дверьми с помощью моих трех заместителей и главного бухгалтера, я вывел действительную продукцию этого месяца. Без таинственной «продукции», взятой со складов, мы имели 88 процентов, т. е. немного больше нормального. Во время этого печального упражнения в арифметике меня раз десять отвлекали дальними звонками, с приветствиями. Сыпались приветственные телеграммы; одна из них была от самого Кагановича. В эту ночь я начал работать над подробным докладом о жульничестве, адресованном Кагановичу.

Между тем, был собран массовый митинг всего завода для празднования достижения. На заводском дворе была сооружена трибуна, декорированная красным и украшенная громадными портретами кремлевских вождей. Оркестр играл непрерывно. Тысячи рабочих и служащих — многие из которых знали о подлоге — были собраны перед трибуной. Мне казалось, что я обнаруживал сознательную насмешку в их аплодисментах и приветственных криках, когда Осадчий, Довбенко, представители обкома и руководители бригады упражнялись в своем ораторском искусстве.

Осадчий прочел некоторые из правительственных телеграмм. Рабочие, сказал он, своими замечательными достижениями в этом месяце опровергли все сомнения скептиков и критиков. Они дали достойный ответ грязным вредителям и уклонистам. Затем он закричал:

«Да здравствует наша партия и ее любимый вождь, учитель, отец и товарищ, наш товарищ Сталин! Ура, товарищи!»

«Ура!» повторили тысячи глоток и оркестр грянул «Интернационал».

Я стоял на трибуне и поздравлял себя с тем, что избег участия в этих выступлениях. Но Довбенко, очевидно, желал заставить меня принять участие публично в этой «победе».

«А сейчас», сказал он, «послушаем товарища, руководство которого было столь ценным при достижении нашей славной цифры 114, — товарища Кравченко!» Я встал. Я не упоминал о июньской продукции, говоря вместо этого о трудных задачах, стоящих перед нами и о необходимости работать с постоянным, организованным усилием. Я благодарил рабочих за то, что они сделали и подчеркнул, что случайная вспышка энергии была недостаточна, что продукция должна быть постоянной. Моя речь вызвала овации и я покинул платформу с чувством, что, во всяком случае, некоторые мои слушатели меня поняли.

Митинг закончился вручением Красного Знамени моему

отделу, которое я принял без улыбки.

Бригада, по прибытии в Москву, была принята наркомом, опять в присутствии представителей прессы. Она получила правительственные награды и была засыпана премиями. «За Индустриализацию» посвятила целую страницу ново-трубному чуду и другие газеты печатали хвалебные передовицы. Я все еще получал приветственные телеграммы, когда послал свой доклад Лазарю Кагановичу.

Через несколько недель я отправился в Москву, в надежде привлечь Главтрубосталь на свою сторону в том, что, как я опасался, могло перерости в общенародный скандал. Кожевников не скрывал своего неудовольствия: его собственная карьера, как одного из основных творцов этого жульничества, стояла под угрозой.

«Попытайтесь понять меня», просил я. «Как могу я смотреть в лицо рабочим и техническому персоналу, когда они все знают или подозревают, что великая победа была просто великой фальшивкой? Вы прекрасно знаете, что в последующие месяцы мы не сможем удержаться на этом искусственном уровне. Рабочие от этого ничего не выиграют. Какой смысл всего этого»?

«Успокойтесь, Виктор Андреевич», ответил он едко. «Ваше отношение, я бы сказал, очень наивно. На такие вещи надо смотреть с расчетом на будущее. Если партия находит нужным популяризировать известного рода деятельность — в данном случае стахановское движение — оно становится политической необходимостью, при которой конец оправдывает любые средства. Ваша тревога бессмыслена».

«Вы неправы», настаивал я. «Мы не можем строить на основе лжи. Ложь подобна бумерангу».

Кожевников явно терял терпение.

«Я дам вам один совет, товарищ Кравченко. Прекратите поднимать шум об этом деле, или вы принесете вред только себе».

Затем я посетил редактора «За Индустриализацию». Он, как будто, пришел в ужас, когда я обрисовал ему факты обмана и попросил меня непременно написать статью об этом, прежде чем я выеду из Москвы. Я это сделал и послал копию в «Правду». Я не слыхал больше ничего ни от газет, ни от Кагановича.

Вернувшись на завод, я нашел рабочих, мастеров и низший технический персонал в состоянии глухого недовольства. Было много разговоров о премиях. Но все эти люди получали оплату по сдельной расценке. Посколько они в действительности произвели не больше, чем обычно, то их единственным вознаграждением было участие в шуме и красное знамя. Но административный

персонал, включая Осадчего и меня, получил прекрасные премии: 150 процентов от нашей основной зарплаты — это довело мою июньскую зарплату более чем до 4000 рублей — хорошее вознаграждение за подлог, который я безуспешно старался раскрыть.

Отклики о моих московских попытках достигли Первоуральска и руководство там было в убийственной ярости. В горкоме, — знаменательно, что это было в присутствии Паршина от НКВД, — меня обвиняли в попытке «подкопаться под их престиж». Почему я старался создать для всех трудности? Почему я «раздул огонь, который уже начал угасать».

Потребовались месяцы, прежде чем эти люди, коллеги по заводу забыли мою «измену» и снова начали улыбаться; но я не сожалел о своих действиях. Что бы ни случилось, мое дело было чистым. Но ничего не случилось. Слишком много влиятельных бюрократов было вовлечено в эту шарлатанскую аферу. «Великолепная победа» вошла в советскую историю.

* * *

Издание в 1938 году новой официальной «Истории коммунистической партии» отметило ослабление сверх-чистки.

Я не хочу сказать, что террор был прекращен, что «Черные Вороны» остались без работы. «Нормальные аресты тысячами, казни без суда, произвольная ссылка «нежелательных элементов», труд которых был желателен в определенных районах, пытки и инквизиция продолжались. Население концентрационных лагерей и колоний принудительного труда было многочисленно, как никогда. Среди коммунистов, близких к кремлевскому трону, шопотом приводили цифру рабского труда более чем в пятнадцать миллионов; в последующие несколько лет эта цифра должна была приблизиться к двадцати миллионам.

Я хочу только сказать, что специальная кампания по чистке партии и бюрократии, запланированная после убийства Кирова, была сейчас почти завершена. Не осталось ни одного учреждения или предприятия, экономического или культурного института, правительственного, партийного или военного учреждения, которое бы не находилось в значительной мере в новых руках.

Грандиозность этого ужаса никогда не была правильно оценена за границей. Может быть он слишком грандиозен, чтобы его когда либо правильно оценить. Россия была полем сражения, усеянным телами, покрытым гигантскими оцепленными районами, в которых трудились, страдали и умирали миллионы

несчастных «военнопленных». Но как может человеческий глаз охватить что либо такое грандиозное? Можно только взглянуть на один или другой угол и судить о целом по его частям. Я был в состоянии, через Кремль, получить несколько официальных цифр. Они не включают всей реальности, они только дают представление о ее величине и мрачности.

В Совнаркоме остался только один Молотов; все остальные были убиты, брошены в тюрьму или сосланы. Центральный комитет партии, в теории сердце и разум правящей группы, насчитывает 138 членов и кандидатов; после окончания сверх-чистки из них осталась только небольшая кучка. Из 757 членов ЦИК'а, называемого иногда заграницей «Парламентом» России, осталось только несколько десятков человек, когда шторм прошел.

Катастрофа была даже еще более кровавой в так называемых автономных «республиках» и областях. Весь командный состав их правительств и партийных организаций, без исключения, был разгромлен по приказу из Москвы — достаточный комментарий к их мнимой автономии. Промышленность и технология, искусство и образование, пресса и вооруженные силы — все было перевернуто вверх ногами, их руководители и наиболее одаренные лица были расстреляны, брошены в тюрьму, сосланы или, в лучшем случае, лишились влияния.

При воспоминании об этом ужасе вполне естественно обращают внимание на известные и наиболее важные жертвы его, в то время как погром распространился на все население. Из господствующей партии были исключены 1.800.000 членов и кандидатов, что составляло более половины ее состава; и в большинстве случаев исключение означало концентрационный лагерь или даже хуже. По меньшей мере еще восемь миллионов комсомольцев и беспартийных были ликвидированы, т. е. казнены, сосланы или сняты с работы.

Но даже эти колоссальные цифры не охватывают всю трагедию. Они велики, но они холодны. Сама их грандиозность делает их немного нереальными. Надо подумать о жертвах не в этих безличных цифрах, а как об отдельных личностях. Надо помнить, что каждый из этих миллионов имел родственников, друзей, иждивенцев, которые разделяли его страдания; что каждый из них имел надежды, планы и действительные достижения, которые все были разрушены. Для завтрашнего историка и для сегодняшнего социолога они являются статистическими цифрами Но для меня, который прошел через это, все эти единицы имеют тело, разум и душу, которые были потрясены, сломлены и уничтожены.

Более того, я знаю, что миллионы тех, кто избежал чистки были тяжело ранены и искалечены духовно страхом и жестокостями, среди которых они жили. Я не знаю в человеческой истории ничего, что могло бы быть сравнимо с этим планомерным и безжалостным преследованием, от которого прямо или косвенно пострадали десятки миллионов русских людей. Чингис Хан был любителем, учеником по сравнению со Сталиным. Кремлевская клика провела безжалостную войну против своей страны и против своего народа.

ОТРЫВОК ДВЕНАДЦАТЫЙ

Появление новой истории сигнализировало временное затишье на фронте этой длительной войны.

Бесстыдно, даже без всякого об'яснения, новая история ВКП(б), созданная приказом свыше, пересмотрела полстолетия русской истории. Я не хочу сказать просто, что она фальсифицировала некоторые факты или дала новое об'яснение событиям. Я хочу сказать, что она сознательно поставила историю на голову, вычеркивая события и изобретая новые факты. Она исказила недавнее прошлое — прошлое еще свежее в миллионах умов — придала ему новые, дикие формы, для подтверждения фантастических версий, сочиненных на процессах этой кровавой чистки и сопровождавшей их пропаганды.

Это была наглая, разработанная, сознательная ложь. Было даже известное величие в ее неприкрытом цинизме, в презрении к здравому смыслу русского народа. Роли руководящих исторических фигур были искажены или полностью перевраны. Новые роли были изобретены для других.

Лев Троцкий, один из создателей Красной армии, был представлен как подкупный агент иностранных капиталистов; который стремился распродать нашу страну, вместе с Рыковым, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым, Бубновым, Крестинским, Пятаковым и буквально всеми другими отцами большевистской революции. Иосиф Сталин, конечно, был выставлен как единственный вождь внутри России до революции и как единственный близкий и доверенный помощник Ленина после нее. Все книги, статьи, документы, музейный материал, которые противоречили этой невероятной, фантастической пародии на историю — а это означало почти все исторические и политические документы — изчезли по всей стране.

Более того, живые свидетели, посколько это возможно, были устранены. Руководящий штаб Института Маркса-Энгельса-Ленина в Москве, хранители идеологической истины, были разогнаны и более важные из них были брошены в тюрьму или расстреляны. То же самое произошло и во всех отделениях этого института по всей стране.

В отношении внешнего мира руководящей в этой фальсифицированной истории является директива, помещенная в предисловии к этому учебнику. «Изучение истории коммунистической партии», говорит она, «укрепляет уверенность в окончательной победе великого дела партии Ленина-Сталина; победа коммунизма во всем мире». Несмотря на новое

подчеркивание русского национализма, эта директива остается неизменной. Даже когда Коминтерн был мнимо «ликвидирован», неизбежность сталинской мировой революции не была пересмотрена или отброшена, эта история все еще является официальной, не только для коммунистов в России, но также для коммунистов в Америке, Англии, Китае и где угодно еще.

Мне выпало на долю прочитать «лекцию» по одному разделу этой истории партии перед ответственными партийцами первоуральского района. Конечно, я прошел через этот болезненный фарс только потому, что это был приказ горкома, которому я не мог осмелиться не повиноваться. Моей темой было «Коммунистическая партия в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства». Я набил себе голову соответствующими отрывками из официальной истории, заучил речи Сталина по этому вопросу, затем взошел на трибуну перед аудиторией наполненной людьми и врал, как это мне было предписано, в течение более, чем одного часа.

Каждое произносимое мною слово лжи вскрывало полузажившие раны моего собственного потрясающего опыта в период коллективизации и последующего голода. Мне казалось, что я издеваюсь над детьми с распухшими животами, среди которых я работал и беспокою тела мертвых, разбросанные по деревне. И все время, пока я говорил, я не сомневался, что мои слушатели также знали, что я лгу. Мои слова и их аплодисменты были одинаково серьезны; мы все были актерами, игравшими предписанные нам роли в трагической политической комедии.

Почему я, почему аудитория, подчинились этому безобразию? По той же причине, почему вы вручаете бумажник бандиту, направившему на вас свой револьвер. Пусть ни один иностранец, уверенный в своих человеческих правах, не посмотрит сверху вниз на русских, вынужденных «читать лекции», как я это делал, и аплодировать, как это делала моя аудитория.

Наряду с «воспитанием» членов партии и беспартийных на этой извращенной истории, официальные пропагандисты основывали свою работу на двух положениях о внешнем мире. Первым было одностороннее и искаженное описание жизни в капиталистическом мире, особенно в Соединенных Штатах и Англии. Лектор показывал картины из иностранной прессы, в которых забастовщики избивались полицией, толпы безработных разгонялись пожарными насосами, слезоточивыми бомбами, бросаемыми в пролетариат. Представляемый как полное отражение капитализма, этот материал оставлял глубокое впечатление; он казался официальным, документированным, бесспорным.

Вторым было цитирование нападок на Советский союз враждебных иностранцев, в которых были обидные или оскорбительные замечания о русском народе, эти писания не проводили отчетливой разграничительной линии между русским народом и советским режимом. Человеческое достоинство и национальная гордость слушателей оказывались возмущенными.

Заслуживает упоминания еще один результат великой чистки. Каждый коммунист имеет партийный билет. Это его личный паспорт, его политический патент, эта книжечка, кроме его личных данных, имеет также подписи местных партийных руководителей, которые ее выдали. Поскольку большинство руководящих партийных работников было вычищено, оказалось, что большинство коммунистов имели на своих священных документах подписи врагов народа. Кремль не мог терпеть этого насмешливого явления. Для того, чтобы искоренить почерк и память о мертвых и заключенных, была, поэтому, предписана новая регистрация коммунистов осенью 1938 года. Там, где партийные билеты были подписаны ликвидированными «врагами народа», были выданы новые. Этот процесс превратился в новую чистку, хотя и меньших размеров.

ОТРЫВОК ТРИНАДЦАТЫЙ

В главе XX «Сибирское надувательство» (стр. 317–331), Кравченко описывает условия своей работы в Кемерово, на строительстве трубопрокатного комбината. Этот комбинат был сначала запланирован в Сталинске и сотни миллионов рублей уже затрачены на его строительство, когда обнаружилось, что в этом городе нет для такого предприятия электро- и газоснабжения, путей снабжения, рабочей силы, помещений для рабочих и, наконец, что почва Сталинска не может выдержать тяжести промышленных построек. После нескольких месяцев волокиты и препирательств с различными организациями, Кравченко удалось добиться переноса этого строительства в Кемерово, где были для этого все необходимые условия. Глава эта посвящена описанию бестолковости и бесплановости работы советских планирующих организаций. Особенно интересна последняя часть главы.

* * *

С самого начала наши усилия разбивались о бюрократическую глупость. Я должен был собирать материалы и инструменты и организовывать их транспорт и хранение. Тысячи квалифицированных и неквалифицированных рабочих должны были быть мобилизованы, снабжены жильем и элементарной заботой. В нормальных условиях эти вопросы не представляли бы непреодолимых трудностей. Но при нашей советской системе каждый шаг требовал формального решения бесконечных инстанций, каждая из которых ревниво относилась к своим правам и смертельно боялась взять на себя инициативу. Неоднократно мелкие трудности ставили нас в тупик, который никто не осмеливался разрешить без инструкций из Москвы. Мы жили и трудились в лабиринте анкет, бумажных форм и докладов в семи копиях.

Я не буду утруждать читателя техническими подробностями. Но некоторые примеры могут развеять покров деловитости над бесплановостью, которая именуется, почему-то, плановым хозяйством.

Мы остро нуждались в кирпиче. Сотни заключенных маршировали из своих отдаленных лагерей и работали по четырнадцать часов в день, чтобы выполнить требования различных строительных организаций Кемерово на этот

материал. А в то же время два больших и хорошо оборудованных кирпичных завода стояли замороженными. Они принадлежали какому то другому наркомату, который «консервировал» их для неких мистических будущих целей. Я просил, и угрожал, и посылал ходоков в Москву в попытке разморозить эти заводы, но бюрократизм торжествовал над здравым смыслом. Кирпичные заводы оставались мертвыми все время, пока я находился в этом городе.

В то время как мы делали отчаянные попытки найти жилье для наших рабочих, на окраине Кемерово стоял блок жилых домов, неоконченных и безполезных. Оказалось, что кредиты, отпущенные на их строительство, были израсходованы раньше, чем дома были окончены. У меня были необходимые средства для завершения этого строительства и для покупки уже построенного, но я не был в состоянии преодолеть бюрократические препятствия. Организация, которая начала строительство, была готова уступить свои интересы. Фактически все, казалось, были согласны и разрешение на использование этих домов должно было прийти, — но оно так никогда и не пришло.

Важная трамвайная линия, проходившая через наш район, была почти закончена. Несколько десятков тысяч рублей было бы достаточно, чтобы пустить ее в действие и фонды для этого имелись. Но из-за какой то бюджетной волокиты отцы города не осмеливались разрешить эти кредиты без решения вышестоящих органов. Я написал десятки срочных писем, требуя открытия линии. По этому вопросу происходили бурные заседания в горкоме и в кемеровском совете. Но проходил месяц за месяцем и ничего не случалось. Между тем тысячи усталых людей теряли каждый день по два-три часа на хождение на работу и с работы.

Я не мог приписывать все эти осложнения и задержки злому умыслу, хотя страсти разгорались и произносилось много горячих слов. Действительное об'яснение лежало в паническом страхе, который парализовал отдельных работников и целые организации.

Оказалось, что Кемерово пострадал более нормального от террора прошедшей чистки и потому медленно оправлялся. Многие из его руководящих работников все еще находились под влиянием кровопролития. Город сенсационно участвовал в московских процессах. Его химические заводы и угольные шахты фигурировали в них, как основные цели вредительской деятельности; и именно в Кемерово, как утверждалось, находилась «подпольная типография», созданная и использовавшаяся вождями оппозиции.

Главным «заговорщиком» в этом городе был, будто-бы,

товарищ Норкин, который находился среди обвиняемых по процессу Пятакова и был казнен через несколько часов после суда. Он работал в Кемерово, как представитель Народного Комиссариата Тяжелой Промышленности. За мои грехи я должен был сейчас сидеть в том же кабинете, из которого Норкин, если верить его бессмысленному признанию, направлял свои преступления. Я находился в ежедневном контакте с некоторыми из людей, работавших вместе с ним и с несколькими из тех, которые свидетельствовали против него.

По мере того, как мое знакомство с ними углублялось, было неизбежно, что имя Норкина время от времени возникало во время разговора. Каждый раз они бывали при этом смущены и испытывали, как мне казалось, также глубокий стыд. Им едва ли надо было мне говорить — хотя один это сделал — что они лгали под давлением НКВД, чтобы спасти свои шкуры. Несколько раз угрызения совести вынуждали у них некоторые признания.

Однажды, после серьезного несчастного случая, происшедшего на химическом заводе, я оказался один с работавшим здесь ответственным партийцем. Рассказав мне о некоторых подробностях несчастного случая, он вдруг воскликнул:.

«Это как раз такого рода вещь, за которую были казнены товарищ Норкин и многие другие! «Саботажники» и «вредители» мертвы, но несчастные случаи продолжаются. Я думаю, они направляют их из своих безимянных могил…»

«Но как же с собственными признаниями Норкина, товарищ Л.?»

«Не будьте наивным, Виктор Андреевич. Если бы эти инженеры действительно хотели совершать вредительские акты, они могли бы пустить в воздух весь комбинат. Почему они ограничились незначительной порчей и маленькими срывами производства? Зачем им было травить рабочих? Признания? Сказки для иностранных идиотов!»

Было очевидно для каждого инженера, что этот химический завод, также как и многие из новых советских промышленных предприятий, работал с большими перебоями. Строительство было спешным и во многих отношениях незаконченным. Монтаж был убогим. Рабочие были недостаточно подготовлены. Правда заключалась в том, что недостаток опыта и ошибки были причиной несчастных случаев здесь до чистки и они продолжали вызывать несчастные случаи сейчас, когда «враги народа» были уже уничтожены.

«Наркомтяжпром завален докладами об условиях, которые могут вызвать несчастные случаи,» сказал товарищ Л. «Многие из

этих докладов были написаны теми же людьми, которые позже признались в саботаже. Есть ли какой нибудь смысл для инженеров предупреждать о катастрофах, которые они сами подготовляют?»

«Я думаю, что нет.»

«И примите во внимание, каково бы было влияние на общественное мнение, если бы правительство обнародовало эти доклады на суде? Эх, я лучше придержу свой язык. Когда сердце полно, оно не может сдерживаться.

Что было правильно в отношении химических предприятий, относилось также и к угольным шахтам. Однажды секретарь партийного комитета, Сифуров, вызвал меня в свой кабинет. В это утро были затоплены некоторые шахты. Известия о несчастном случае распространились по всему городу и Сифуров был очень угнетен.

«Товарищ Кравченко, нам нужны несколько сотен пар резиновых сапог для людей, откачивающих шахты,» сказал он. «Я слышал, что у вас есть запас сапог и мне нужно ваше сотрудничество».

Я, конечно, согласился уступить сапоги. Затем я вовлек его в разговор о несчастном случае. Я хотел знать, был ли это новый случай саботажа.

«Нет никаких оснований приходить к таким заключениям, сказал Сифуров. «Покажите мне такое угольное предприятие, здесь или заграницей, которое бы не страдало от взрывов, обвалов и затоплений, это в порядке вещей, особенно здесь, где установки достаточно примитивны».

«Но,» настаивал я, «мы знаем из процессов и дознаний, что кемеровские шахты были переполнены вредителями». Секретарь партийного комитета долго смотрел на меня, криво усмехнулся и переменил тему.

Несколько позже у меня была беседа с одним из руководителей местного угольного треста, с которым у меня установились дружеские отношения. Наши переговоры затянулись дольше нормального времени и мы остались одни. Вдруг без всякого особого повода, он подошел к своему сейфу и вынул картонную папку, которую молча протянул мне. Я открыл папку и начал читать копии докладов в Главуголь в Москву.

Это были доклады, посланные задолго до того, как произошли мнимые взрывы и акты саботажа. Тревожным и иногда отчаянным языком они предупреждали, что для избежания несчастных случаев с людьми и убытков, должны быть без замедления приняты предупредительные меры. Значение этих предупреждений было достаточно ясно. Вредители едва ли стали

бы так настойчиво просить предупредить их собственные преступления…

Признания Норкина о подпольной типографии были подтверждены на судах в Кемерово и Новосибирске другими заключенными и поддержаны фотографиями печатной машины и копиями антисоветских листовок, это было одно из немногих признаний, как будто подкрепленных документальными доказательствами. Я был заинтригован этой историей и никогда не пропускал случая пролить на нее свет, теперь, когда я находился на месте преступления.

За мое почти годичное пребывание в Кемерово мне удалось собрать вместе различные факты и они дали страшную картину. Я не могу открыть, как я собрал эту информацию по частям, т. к. это грозило бы жизни честных людей. Я должен ограничится просто констатацией ужасной правды — правды настолько ужасной, что я не мог ей поверить, пока не получил неопровержимых доказательств.

Тайная типография действительно существовала. Много раз я бывал в подвале, где она стояла; там были отчетливые следы ее присутствия. Листовки, нападавшие на Сталина, и призывавшие к восстанию, действительно печатались. Но машина была установлена, листовки составлялись и печатались самим НКВД. Для того, чтобы быть уверенными, что об этом не будет разговоров, творцы этой ужасной комедии использовали в качестве работников заключенных, присужденных к смерти или долгому заключению. Работа была проделана под покровом ночи. Заключенные были, конечно, под постоянным надзором, а техническое руководство осуществлялось чекистами, специализировавшимися в таких вещах.

«Но как же с листовками?» спросил я одного человека, который знал эти факты. «Ведь говорили, что тысячи их были здесь распространены».

«Какая глупость!» ответил он. «Вы достаточно хорошо знаете, что каждый, кто осмелилися бы поднять такую листовку был бы арестован. Но я не знаю ни об одном аресте по такому обвинению; и никто другой не знает этого. Никто из рабочих даже никогда не слышал об этих знаменитых листовках до суда. Может быть заговорщики печатали их просто для того, чтобы им было что почитать на ночь?»

ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Начинает эту главу Кравченко описанием того, как подействовало на советских людей заключение пакта между СССР и Германией. Здесь подробно рисуется, как воспитывалась годами в них враждебность к гитлеровскому режиму и как подобный пакт казался советским людям совершенно невероятной вещью. Вскоре после заключения этого пакта, он посетил Москву и был поражен тем, насколько серьезны были приготовления к пропагандированию немецкого искусства, музыки и даже нацистских экономических и военных достижений. Он утверждает, что Сталин почти до самого начала войны Германии против СССР верил в этот союз.

Советская иерархия не нуждается в особых аргументах, чтобы воздействовать на мнение партии.

Единственно, что мы знали наверняка, это то, что наша страна исключила себя из кровавой войны, опустошавшей Европу и это казалось делом достойным благодарности. Более того, мы получали кое какую прибыль от войны — половину Польши, Бессарабию, позже три прибалтийских республики — как награду за нейтралитет Кремля.

Мало кто из нас предвидел, что Россия будет так же брошена в огонь и что ее материальные и человеческие потери будут большими, чем у всех остальных народов, вместе взятых. Мы считали несомненным, что сражающиеся страны с течением времени обескровят себя, оставив СССР действительным хозяином Европы. Политическая формула гласила, что пока капиталисты дерутся, мы будем усиливаться, вооружаться и использовать военный опыт других. Когда капитализм и фашизм ослабят друг друга, мы, если это будет нужно, бросим на весы истории двадцать миллионов вооруженных до зубов людей; к этому времени революции во многих странах Европы перейдут из теоретической в практическую стадию.

Эту циничную точку зрения наши вожди называли «большевистским реализмом». Некоторым из нас она казалась позорной и постыдной. Роль гиены, подбирающей кости мертвого континента была противна нашим моральным устоям. Мы предпочитали романтизм ранних революционных годов.

Хотя все приняли дружбу с нацизмом, наряду с усилившимися нападками на другие европейские страны, я могу утверждать, что не было никакого энтузиазма по этому поводу. Наши политические митинги, на которых ораторы из центра

об'ясняли новое положение, казались напряженными и смущенными. Это было особенно верно после того, как СССР напал в ноябре на Финляндию. Когда Давид борется против Голиафа, даже друзья Голиафа чувствуют невольную симпатию к мужественному маленькому Давиду. Как мог простой рабочий на наших массовых митингах верить, что слабая, маленькая Финляндия могла, неспровоцированная, напасть на своего колоссального соседа? Тот факт, что мы заплатили сотнями тысяч убитых, раненных, обмороженных и военнопленных за узкую полоску карело-финских болот увеличивал чувство стыда.

В свете будущих событий одно должно быть ясно: Сталин вступил в свой сговор с Гитлером серьезно. Если бы Кремль имел в виду, что нам в конце концов придется воевать против Германии, какая то часть существовавшей ненависти к нацизму была бы сохранена; наша антифашистская пропаганда не была бы так полностью превращена в «анти-империалистическую» (т. е. анти-британскую и анти-американскую). Во всяком случае более доверенные партийные чиновники в Кремле, многих из которых я близко знал, предупреждались бы о продолжавшейся опасности нацизма.

Ничего подобного не случилось. Наоборот, каждый шепот против Германии, каждое слово симпатии к жертвам Гитлера, расценивалось как новый вид контр-революции. Французские, британские, норвежские «поджигатели войны» получали «по заслугам».

Теория, что Сталин просто «выиграл время», лихорадочно вооружаясь против нацистов, была изобретена много позже, для прикрытия трагического просчета Кремля в доверии к Германии, это было такое противоестественное изобретение, что о нем мало говорилось внутри России во время советско-германской войны. Только после того, как я оказался в свободном мире, я слышал, как оно серьезно обсуждалось и как ему верили. Это была теория, которая игнорировала наиболее показательную сторону соглашения Сталин — Гитлер: экономические соглашения широкого масштаба, которые выкачивали из СССР те самые продукты и материалы, которые были особенно нужны Гитлеру для войны.

Несомненно, советский режим не использовал полученной передышки для того, чтобы эффективно вооружиться. Я стоял достаточно близко к промышленности, работавшей на оборону, чтобы знать, что после пакта военные силы ослабели. Общее чувство, отражавшее настроение высших кругов, было таково, что мы можем позволить себе чувствовать себя в безопасности, благодаря государственной мудрости Сталина. В этом отношении

не возникало сомнений до падения Франции; только тогда темп военных приготовлений опять усилился.

Далее в той же главе Кравченко описывает условия труда и жизни заключенных, которые исрользовались в Кемерово на различных работах Он описывает бараки, вид заключенных, их пищу и циничную торговлю НКВД трудом и жизнью этих несчастных заключенных существ. Все это он наблюдал сам, как начальник строительстра. В общих чертах эта картина только дополняет и расширяет то, что он писал выше по этому вопросу и что хорошо известно всем русским. Поэтому нет необходимости ее еще раз повторять.

В декабре 1939 года Совнарком решил заморозить строительство трубопрокатного комбината в Кемерово и Кравченко переехал в Москву, где был назначен на один из подмосковных небольших заводов.

ОТРЫВОК ПЯТНАДЦАТЫЙ

Утром 22 июня 1941 года советские города и аэродромы были бомбардированы, советские армии в панике отступали перед нацистскими «панцерными» дивизиями на громадном фронте. Внезапное германское нападение на Россию было на первых страницах газет всего мира. Этим утром до рассвета, секретная полиция начала вылавливать по всей стране десятками тысяч «нежелательных».

Но я ничего не знал о катастрофе, которая обрушилась на головы двухсот миллионов жителей нашей страны, этого также не знал никто другой на нашем заводе, когда я пришел утром в свой кабинет. Вчерашние военные сводки все еще говорили о победах гитлеровских армий, о неудачах его противников, «капиталистических шакалов» и «плутократических поджигателей войны».

За последние месяцы не было ни малейшего изменения в тоне официальной пропаганды. Не было ни одного неосторожного слова сочувствия к народам, порабощенным Гитлером, ни одного рискованного выражения порицания нацистским мародерам. Хотя миллионы русских чувствовали глубокую жалость к жертвам нацистских безчинств, мы не могли открыто выявлять своих чувств. Еще за несколько дней до этого знаменательного утра я совещался в наркомате внешней торговли с немецкими представителями об импорте машин. Мы разрабатывали технические подробности германских поставок электро-сварочного оборудования Советскому Союзу.

20 июня, за два дня до вторжения, я читал доклад на политическом собрании рабочих и служащих об «империалистической войне». Я говорил согласно предписанной линии. Германия, я повторял, стремилась к миру, несмотря на свои большие победы, но английские империалисты, поддержанные американским капиталом, настаивали на продолжении войны. Ни я, никто другой за пределами внутреннего кремлевского круга, не знал, что еще в январе Государственный Департамент в Вашингтоне предупреждал нашего посла, Константина Уманского, что Гитлер готовился к нападению на Россию. Предупреждение было повторено пять недель спустя Семнером Уеллесом и подкрепление подобными же английскими советами.

Подобные же предупреждения делались советскими агентами в Германии. Они сообщали о подозрительных передвижениях войск в нашем направлении, в масштабах слишком больших для

простых полицейских намерений. Вследствии того, что я имел большие знакомства среди чиновников, работавших в комиссариатах и заводах, производивших товары для германской военной машины, я часто приходил в соприкосновение с нашими торговыми представителями, только что вернувшимися из Берлина. Их предупреждали относительно намерений Гитлера. Немцы им откровенно говорили, что столкновение неизбежно Но и это все Сталин и его двор отбрасывали, как преднамеренную ложь. Они казались ослепленными их собственной пропагандой.

Насколько позволялось знать массе русских, советско-нацистское сотрудничество было неомраченной идиллией. Сомневаться в этом, означало сомневаться в непогрешимости Сталина. Предположение о возможности обмана немцами мудрого нашего вождя было подобно контр-революции. Выразить открыто симпатию к жертвам коричневых рубашек было достаточным поводом для ареста.

Так без всякого подготовительного слуха наступил этот исторический день. Работа на нашем заводе была уже на полном ходу, когда было об'явлено, что мы должны собраться, чтобы выслушать важное заявление Молотова по радио, эта процедура была необычной и вызвала на заводе дрожь ожидания. Мы строили различные догадки о возможной теме выступления Наркома. Никто не догадывался об ужасной правде.

Поразительные и ужасные слова Молотова заставили нас окаменеть. Что должны мы были заключить из его сенсационного заявления? Фюрер, коварный и бесчестный, подлый и глупый, обрушил свой знаменитый «блитц» на страну, которая почти два года лишала себя всего самого необходимого, чтобы помочь ему покорить Европу. Мы тщательно выполняли наши обязательства. Мы поддерживали нацистов не только товарами, но и пропагандой по всему миру и дипломатическим давлением. Теперь мы получали вознаграждение.

Через несколько часов прибыл партийный оратор. Мы созвали обеденный митинг наших рабочих. Я сидел на трибуне, рядом с директором Мантуровым и секретарем заводского партийного комитета Егоровым. Я смотрел на усталые, мрачные лица наших рабочих, когда оратор клял предательство германского диктатора и восхвалял честность нашего диктатора. Я видел гнев, возмущение, а также усталость, растерянность и печаль. Некоторые женщины плакали.

После обеда мне сообщили, что начальник смены, Вадим Александрович Смолянинов не вышел на работу и что до него нельзя было дозвониться. Я взял трубку и набрал его номер.

— «Это квартира Смолянинова?» спросил я.

— «Бывшая квартира Смолянинова», сухо ответили мне.

— Пожалуйста, попросите к телефону Вадима Александровича».

— «Кто говорит?»

— «Говорит заместитель главного инженера его завода».

— «Его здесь нет и больше не будет».

— «Кто говорит? Я говорю официально».

— «Я тоже говорю официально, это представитель НКВД».

Я положил трубку. Итак, мой друг Смолянинов был арестован! Какой трагический конец для революционной карьеры! Опытный инженер и образованный человек, Смолянинов принимал активное участие в революции и был личным секретарем Ленина. Позже он был начальником канцелярии Совнаркома, начальником строительства Магнитостроя, председателем советской торговой делегации в Соединенных Штатах, директором Гипромеза. Коротко говоря, он был значительной фигурой в советском режиме.

Однако, во время большой чистки он был исключен из партии и понижен до помощника мастера на нашем заводе. С течением времени, этот бывший секретарь Ленина был повышен до должности мастера и сменного начальника. Недавно он был восстановлен в партии. Его единственный сын, сержант Красной армии, был на фронте. Сейчас Смолянинов был арестован.

Он был только первой жертвой беспощадного террора военного времени, которая стала мне известной. В последующие дни десятки других лиц вокруг меня исчезли. Задолго до этого, один приятель из НКВД сообщил мне, что в случае войны все «опасные элементы» будут убраны. В каждом селе и в каждом городе были составлены черные списки: сотни тысяч людей должны были быть взяты под стражу. Он не преувеличивал. Ликвидация «внутренних врагов» была единственной частью наших военных усилий, которая работала быстро и продуктивно в первую, ужасную фазу борьбы, это была чистка тыла в соответствии с разработанным заранее планом, по приказу самого Сталина.

Несколько лет спустя, в Америке, я слышал поразительную глупость — которой верили даже интеллигентные американцы — что в России, якобы, была «пятая колонна», и потому-то кровавые чистки мудро искореняли всех «изменников». Я читал этот очевидный абсурд в странной, полуграмотной книге бывшего посланника Джозефа Дэвиса, в легкомысленных писаниях других, которые считались экспертами в этом вопросе, несмотря на глубокое невежество в отношении природы сталинского режима и сталинской политики. Я мог только поражаться успеху этой

детской пропаганды очевидно экспортированной Москвой.

Я говорю «экспортированной» потому, что внутри России правительство заняло совершенно противоположную позицию. Оно настаивало, что народ был переполнен агентами пятой колонны. С самого первого дня пресса, радио и ораторы требовали смерти мнимых внутренних врагов, шпионов, дезорганизаторов, распространителей слухов, вредителей, фашистских агентов и НКВД откликался на этот вой массовыми арестами и расстрелами. Во всяком случае в первой фазе войны мы были уверены, что Кремль больше боится своих подданных, чем иноземных захватчиков. У нас не было пятой колонны в смысле сторонников немцев или изменников, и это несмотря на кровавые чистки. Но мы имели миллионы патриотов, которые ненавидели сталинский деспотизм и его отвратительные дела. В этом отношении страх господствующей клики был обоснованным.

Варварство коллективизации, умышленный голод 1931—33 гг., невообразимые жестокости годов чистки оставили глубокие следы. Едва ли была хоть одна семья, которая бы не понесла потерь от наступления режима на народ. Сталин и его помощники не беспокоились о нашей преданности России; они беспокоились, и с полным основанием, о нашей преданности им самим. Может быть, в своих кошмарах, они видели как двадцать миллионов рабов прорываются в ярости сквозь стены и колючую проволоку, чтобы отомстить.

Во всяком случае, беспощадное подавление потенциальной оппозиции занимало первое место в планах правительства. Оно преобладало над мерами военной обороны. Советские граждане немецкого происхождения, хотя бы и в очень отдаленных поколениях, были арестованы почти до последнего человека. Все население республики немцев Поволжья, почти полмиллиона человек, было выселено из района, где оно проживало почти от времен Екатерины Великой и рассеяно по Сибири и Дальнему Востоку. Затем пришла очередь поляков, балтийцев и многих других национальностей, которых не беспокоили до войны. Изоляторы и лагеря принудительного труда были набиты новыми миллионами. Наши повелители вели себя как испуганная стая волков.

Через несколько дней после начала войны в Москве были учреждены «военные трибуналы», возглавляемые бывшим председателем городского суда, товарищем Васневым. Подотделы этого нового орудия террора были рассеяны по всей столице и ее пригородам. То же самое было и в других городах. Все поры советской жизни были пронизаны этой организацией, снабженной чрезвычайными полномочиями для арестов, секретного

судопроизводства и вынесения смертных приговоров. Были специальные железнодорожные трибуналы, трибуналы речного транспорта, армейские трибуналы — всенародная свора охотников за черепами под началом НКВД, облеченная задачей вылавливать непокорных. Совершенно очевидно, что режим был в состоянии паники.

Задачи новой институции, дополнявшей, но не исключавшей всех имевшихся орудий подавления и преследования, были изложены самим Сталиным через двенадцать дней после начала вторжения:

«Мы должны организовать беспощадную борьбу против всех дезорганизаторов тыла, дезертиров, паникеров, трусов, распространителей слухов… Необходимо немедленно передавать в суды военных трибуналов всех тех, кто своей трусостью и паническими настроениями препятствует обороне страны, независимо от того, кто бы они не были».

Откуда этот дикий страх правителей страны, так недавно «об'единенной» чистками, так часто именовавшейся «монолитной». Разве это определение самим Сталиным всей страны, как скопища непокорных, не было само «паникерством» громадного масштаба? Очевидно внутренние враги были слишком многочисленны даже для сотен тысяч ищеек НКВД, раз было нужно создавать новые трибуналы. Как это могло случиться в стране, распевавшей гимны «счастливой жизни» под «солнцем сталинской конституции»?

Может быть господа Дэвисы и Дюранты могут ответить на эту загадку. Но слушая хриплые угрозы Сталина, произносимые с его грузинским акцентом, я знал, что они не подходили к картине страны, очищенной от изменников в океанах крови. И дела, которые за этим последовали, говорили еще больше, чем даже слова Сталина.

В одной Москве в первые шесть месяцев были расстреляны тысячи людей. Одного слова страха сомнения или страха отчаяния было часто достаточно, чтобы предстать перед военным трибуналом. Тысячи шпионов подслушивали и подсматривали в очередях за керосином, на базарах, в магазинах, театрах, вагонах трамваев, железнодорожных станциях за выражениями отчаяния, сомнения или критики. Каждый домовой комитет сообщал о своих жильцах, каждый служащий о своих начальниках. Дошло до того, что люди боялись сказать, что они голодны, чтобы не быть обвиненными в сомнении относительно мудрости Сталина.

В московских партийных кругах было широко известно, что когда враг подходил к Москве, тысячи заключенных в тюрьмах и лагерях принудительного труда были расстреляны, это были

исключительно выдающиеся политические заключенные левого направления — социалисты, бухаринцы, эсеры, анархисты, бывшие коммунисты. Это были люди, которых Кремль боялся больше всего, т. к. в случае революции они могли бы возглавить поднявшиеся массы. Вновь этот кошмар двадцати миллионов рабов, потрясающих своими цепями…

Также не было секретом, что и машина военной мобилизации была использована для уничтожения тех, которым недоверял советский режим. Все папки НКВД были пересмотрены. Списки подозреваемых — для тех случаев, когда арест казался ненужным — были в руках всех призывных комиссий. Тех, кого хотели спешно ликвидировать, сразу призывали и посылали почти без всякой подготовки на наиболее опасные участки фронта, это была своего рода чистка левой рукой.

Грандиозность террора внутри России не может быть преувеличена, это была война внутри войны, это было наглядное выражение потрясающего недоверия Кремля к русскому народу. Вторым выражением было почти немедленное искоренение большинства «социалистических» лозунгов, под которыми мы жили и страдали двадцать четыре года. После четверти столетия насаждения коммунизма, правительство в решительный для себя час обратилось с призывом к национальному патриотизму, расовой преданности, любви к родной земле, позже даже к религии. Нас понуждали защищать не страну «социализма», а русскую землю, славянское наследие, православного Бога.

Трудно себе представить более полную переоценку ценностей, как бы лжива и преходяща она не была. Социализм? Коллективизация? Бесклассовое общество? Мировая революция? Чем большую территорию занимали немцы, тем меньше говорилось об этих идеях, из-за которых мучили страну. Только гораздо позже, когда волна вторжения была остановлена, были возобновлены старые советские лозунги. Нет сомнения, что были миллионы рядовых советских людей, которые сохраняли веру в советский тип общества и советское мышление. Эта вера, как кажется не разделялась правителями в Кремле.

ОТРЫВОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Но, вернемся к первому дню войны.

Этим вечером я нашел в кабинете директора самого Мантурова, Егорова и директора подсобного завода, Ларионова. Мы говорили о войне. Радио было включено, потому что мы ждали новостей. Внезапно, сквозь маршевую музыку послышался голос:

«Граждане России! Русский народ! Слушайте! Слушайте! Говорит главная квартира германской армии!»

Мы смущенно посмотрели друг на друга.

«Не лучше ли выключить мерзавца?» сказал Мантуров.

«Черт с ним! Послушаем, что говорит этот сукин сын!» решил Егоров.

«Двадцать четыре года вы живете в страхе и голоде. Вам обещали свободную жизнь, а вы получили рабство. Вам обещали хлеб, а вы получили голод. Вы рабы, без всяких человеческих прав. Тысячи из вас умирают каждый день в концентрационных лагерях и в сибирской тайге. Вы не господа своей страны или даже своей жизни. Ваш господин — Сталин. С вами обращаются хуже, чем с рабами на галерах. Миллионы из вас находятся в этот момент в тюрьмах или в лагерях принудительного труда. Ваши господа уничтожили вашу православную веру и заменили ее обожествлением Сталина. Что осталось от вашей свободы слова и печати? Смерть паразитам русского народа! Свергайте своих тиранов!» Затем последовали ругательства, антисемитские лозунги и другие вульгарные особенности германской пропаганды.

«Заткните его!» крикнул Егоров.

Мантуров поспешно повернул выключатель. Наступившая тишина была гнетущей. Мы не осмеливались посмотреть друг другу в глаза. Скоро мы разошлись в полном смущении.

Примерно час спустя я вернулся в кабинет Мантурова. Я хотел посоветоваться с ним о замене Смолянинова. Как обычно, я вошел не постучав. К моему удивлению я нашел Мантурова и Егорова слушающими опять вражескую передачу. Я прекрасно понимал их любопытство. В первый раз за десятки лет можно было слышать, как советский режим громко разоблачается, вместо того чтобы слушать, как этот режим разоблачает других.

«Переходите к нам с этими листовками в руках», говорил голос из радио, когда я вошел. «Они будут служить вам пропуском. Зачем драться за рабство и террор, когда немцы несут вам свободную жизнь?»

Мантуров выругался, когда он повернул выключатель. Егоров, не менее смущенный моим появлением, поспешил выйти из кабинета. Я заговорил о Смолянинове и других служебных делах. Мантуров прервал меня на середине фразы:

«Между прочим, товарищ Кравченко, лучше не упоминать, что мы слушали германскую пропаганду по радио. Вы знаете, на всякий случай. Береженого и Бог бережет».

«Я уверен, что половина Москвы слушала», сказал я.

«Они не будут слушать завтра. Мне только что звонили по телефону: завтра будут реквизированы все радио-приемники».

«Реквизированы? Зачем?»

«Вероятно для хранения».

Это было именно то, что произошло на следующий день, в Москве и в остальной стране. Все граждане, под угрозой наказания должны были сдать свои приемники в ближайший район милиции. В других странах слушать врага было запрещено под угрозой наказания. В России народу в такой степени не доверяли: у людей просто отняли приемники.

Это был первый шаг к полной ликвидации всякой информации. Цензура почты не ограничивалась только проверкой писем на фронт и с фронта, но и охватила так- же и обычную гражданскую переписку. Военные сводки оказывались такими ложными, что мало кто из русских верил им. Нечего удивляться, что власти были смущены паникерами и сеятелями слухов, эти вещи просто отражали общественную уверенность, что наше правительство лгало.

На нашем заводе мы работали с растущим напряжением. Мобилизация вырывала наши рабочие силы. Хаос на транспорте оставлял нас без необходимых материалов. В теории наша страна наслаждалась двадцатью двумя месяцами мира, во время которых она могла подготовиться к столкновению. На практике, ничего не было подготовлено. Беспорядок царствовал в каждой области нашей жизни.

Мы не могли поверить передававшимся шопотом сообщениям, что немецкая волна катилась на восток с ужасающей скоростью. А что же с колоссальной Красной армией, которой мы хвастались? Что же со стратегической обороной, будто бы полученной в результате передвижения наших границ глубоко в Польшу, Румынию, Финляндию, Прибалтийские страны? Что же с теми преимуществами, которые мы, будто бы, получили в результате долгого периода нашего нейтралитета?

Сводки говорили нам меньше, чем ничего, только добавляя смущение к потоку слухов. Наряды милиции не пускали беженцев в столицу, чтобы поддержать ее дух. Но достаточное количество

их проникало в город, чтобы создать у нас чувство надвигающейся катастрофы. Сводки избегали откровенного признания поражений. Они даже говорили об успехах. Но упоминавшиеся географические названия показывали, что фронт приближался.

«В течение прошлой ночи», заявляла сводка в начале июля, «бои шли на мурманском, двинском, минском и луцком направлениях… Около Мурманска наши войска оказали врагу упорное сопротивление, нанеся ему тяжелые потери… В районе Двинска и Минска оказалось, что продвинувшиеся вперед танковые соединения противника…

Но 3 июля к микрофону в первый раз подошел Сталин. Ужаснувшийся народ услышал, что волна нашествия быстро приближалась к столице.

«Гитлеровским войскам», говорил Сталин, «удалось захватить Литву, значительную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Грозная опасность нависла над нашей родиной».

Мы едва могли верить нашим ушам.

«Цель этой войны против фашистских агрессоров заключается в том, чтобы помочь народам Европы, стонущим под игом германского фашизма», продолжал Сталин. «В этой войне у нас будут верные союзники в народах Европы и Америки. Наша война за свободу нашей родины совпадает с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократическую свободу…»

Так мы в первый раз услышали, как сам Сталин употреблял такие слова как свобода и демократия в их старомодном смысле, без насмешливых кавычек. Все это казалось невероятным: сохранение нашего большевистского режима было вдруг связано с победой «упадочных демократий»…

Ведущие капиталистические страны обещали дать всю возможную помощь Советскому Союзу. Почти забытая мечта о свободе снова пробудилась во многих русских сердцах. Хотя потребовалась ужасная война, чтобы произвести чудо, наша изоляция от свободного мира казалась сломленной.

«Братья и сестры, я обращаюсь к вам, друзья мои!» воскликнул Сталин. За шестнадцать лет своего царствования он еще никогда так к нам не обращался. Один мой приятель по заводу, расхрабрившись от возбуждения этого момента, заметил мне тихим голосом: «Хозяину, должно быть, чертовски допекло, если он называет нас братьями и сестрами».

Мы не могли понять причин наших поражений. Два десятилетия мы голодали, мучились и выбивались из сил во имя подготовки к войне. Наши вожди хвастались советским превосходством в боевой силе и вооружениях. Сейчас

катастрофический отход наших войск об'яснялся недостатком орудий, самолетов, боеприпасов. Три последовательных пятилетки, каждая из которых жертвовала продовольствием, одеждой, товарами широкого потребления в пользу военной промышленности, были «успешно» завершены. И все же, при первом испытании, наша страна с двумя стами миллионов населения пытались остановить танковые дивизии противника бутылками с бензином! Десятки тысяч русских людей попадали под гусеницы германских танков, потому что, после двадцати лет почти исключительной военной продукции, у нас не было противотанковых ружей. Можно пожертвовать маслом для пушек, но, в данном случае, у нас не было ни масла, ни пушек.

Не было разумного об'яснения для советских поражений. На Польшу напали неожиданно, а затем ей ударил в спину восточный сосед. Франция была меньше и слабее, чем нападавший. Но почему обширная Россия, через два года после начала войны, со всеми преимуществами времени, количества и военного сосредоточения, должна была вести себя как отсталая маленькая страна? Если бы мы были не более чем Франция, мы были бы смяты четыре раза на протяжении первых четырех месяцев.

Только безграничные русские пространства, неистощимые русские запасы живой силы, непревзойденный героизм и жертвенность русского народа в тылу и на фронте, развитие новой и существовавшей промышленности в тылу, восстановление эвакуированных заводов спасло мою страну от уничтожения, это были вещи, которые делали возможным глубокое и дорогостоившее отступление. Режим оказался в состоянии поднять и использовать глубокий национальный дух и патриотизм народа. Позже, после Сталинграда, начался поток американского оружия и снабжения.

Мобилизация проводилась в лихорадочной спешке и бестолково. Призванных отправляли на фронт, даже не дав им возможности попрощаться с их семьями. Рабочих гнали почти прямо с их заводов на поля сражения. Все это несмотря на тот факт, что мы имели одну из самых больших в мире постоянных армий, закаленную вторжением в соседние страны и войной против Финляндии. Правительство было захвачено настолько врасплох, что оно даже не имело достаточного количества обмундирования. В эти первые месяцы даже офицеры шли на смерть в каком то смешном одеянии и без надлежащего обучения. Миллионы новобранцев месили грязь в брезентовых сапогах и ранняя зима заставала их в летнем обмундировании. Я видел новобранцев, обучавшихся с палками, вместо винтовок.

Призывные комиссии работали с семи часов утра до поздней ночи, пропуская мужчин от семнадцати до пятидесятилетнего возраста. Как я узнал позже, они руководствовались не существующим законом, а секретными инструкциями Государственного Комитета Обороны, изданными после начала войны. Некоторые категории необходимых рабочих, конечно, должны были быть освобождены; точно также мужчины, имевшие двух или больше неспособных к труду иждивенцев. За этими исключениями, мобилизация была жестокой и бессердечной. Медицинский осмотр занимал от двух до трех минут на призывника. Я видел одноглазых, калек, страдавших болезнью сердца, язвой желудка, бородатых пятидесятилетних стариков, настолько изможденных, что они едва волочили ноги и все же признанных годными на фронт. По физическим причинам отвергалось только от одного до двух процентов, это, торжествовала пресса, доказывало высокий уровень здоровья, достигнутый при советской власти. В действительности, это доказывало только полное пренебрежение к человеческой жизни.

Болотистая полоска финских лесов, за которую Россия заплатила в 1940 году сотнями тысяч жизней, перешла к врагу почти немедленно. Таким образом сталинская авантюра агрессии не дала ровно ничего — разве только быстрее толкнула нашего финского соседа в об'ятия Германии. Также советское ограбление Польши и захват Прибалтики задержало противника только на очень короткое время. «Стратегическая безопасность», как оправление захвата приграничной территории имеет мало смысла в эпоху механизированной войны и авиации дальнего действия.

ОТРЫВОК СЕМНАДЦАТЫЙ

Для преодоления кризиса было создано новое специальное учреждение: Государственный Комитет Обороны.

Он стал главным представителем государственной и партийной власти, мозгом и движущей силой всей оборонной деятельности по всей стране и на фронтах, а также основной инстанцией разрабатывавшей нашу внутреннюю и внешнюю политику. Этот комитет в действительности заменил Верховный Совет. Совнарком превратился просто в исполнительный орган, выполняющий, беспрекословно приказы нового Комитета и наблюдающий за различными Наркоматами. В каждой области представители Комитета обладали неограниченными полномочиями. Государственный Комитет Обороны был наиболее динамичной, гибкой и беспощадной организацией из всех, которые когда либо существовали в Советской России. Все его члены были взяты из членов и кандидатов всемогущего Политбюро. Военные силы, обезглавленные во время кровавых чисток, еще не выдвинули новых руководителей. Ворошилов, Буденный и другие знаменитые невежды, поставленные во главе различных фронтов были хуже, чем бесполезны. Только в октябре большинство из них было удалено и узды правления переданы другим лицам, это также было показателем неподготовленности Сталина к испытанию.

Немцы, помогавшие в постройке и оборудовании большинства жизненноважных промышленных об'ектов на Украине, знали размещение и значение каждого винта и болта на этих заводах. Они были в состоянии сбрасывать свои бомбы с дьявольской точностью на электросиловые станции, водонапорные башни, транспортные узлы и препятствовать таким образом производству и эвакуации.

Во время действия пакта Сталин помогал Гитлеру завоевывать Европу, снабжая его металлом, рудами, нефтью, зерном, мясом, маслом и всеми необходимыми видами материалов, в соответствии с их экономическим договором. После вторжения, Сталин помог ему, оставив ему громадные богатства военных материалов и производственных возможностей и — что наиболее позорно — десятки миллионов людей.

Неспособность подготовиться будет засвидетельствована против сталинского режима историей, несмотря на его окончательную победу. Это было причиной миллионов ненужных жертв, неизмеримого человеческого страдания. Почему не было эвакуировано население Ленинграда, этот «просмотр»

игнорируется теми, кто восхваляет его, но к 1 марта 1943 года в этом городе умерло от голода и холода более 1.300.000 человек, а остальные будут нести на себе до могилы следы перенесенных ужасов от трех последовательных лет кошмарной осады. Ответственность за ужасные страдания Ленинграда несут на себе два члена Политбюро — Ворошилов, как командующий ленинградским фронтом, и Жданов, как верховный наместник ленинградской области.

То же самое может быть сказано и в отношении несчастного населения, захваченного в Киеве, Одессе, Севастополе и сотне других населенных центров, включая и мой родной город.

Потребовались месяцы прямого знакомства с немецкой жестокостью, чтобы преодолеть моральное разоружение русского народа. Русские люди должны были снова научиться ненавидеть нацистов, после двух лет, в течение которых Гитлер изображался как друг России и как друг мира. Не следует забывать, что в первые недели войны целые дивизии Красной Армии сдавались противнику почти без борьбы.

Если бы вторгшийся враг оказался более человечным и обнаружил больше политического разума, он бы избежал большей части ожесточенного партизанского сопротивления, беспокоившего его день и ночь. Вместо этого, немцы, в своем фантастическом рассовом ослеплении, убивали, мучили людей и угоняли в рабство. Над коллективизацией, которую ненавидило большинство крестьян, завоеватели поставили немецкое господство. Вместо ужасного НКВД немцы принесли свое ужасное Гестапо. Таким образом немцы проводили превосходную работу для Сталина. Они превратили громадное большинство населения, как в захваченных областях, так и в тылу и в армии в своих врагов. Они дали Кремлю материал для разжигания всенародной ненависти к захватчикам.

Если бы мы воевали против демократической страны, гуманной, просвещенной, несущей нам дар свободы и государственной независимости в семье свободных народов, то вся картина была бы иной. Но русским дали только выбор между своей тиранией и тиранией иноземной. Тот факт, что они предпочли свои цепи иностранным, едва ли может служить особым источником гордости для советских диктаторов.

Миллионы тех, которые героически сражались против нацистов на полях сражений и в партизанских отрядах, мечтали о новой России, освобожденной от диктатуры одной партии или одного человека и надеялись, что такая свободная, демократическая Россия восстанет из золы и развалин. Правительство поддерживало эту иллюзию, особенно на

территориях захваченных противником, пока война развивалась неблагоприятно для нас. Тексты Атлантической Хартии и Четырех Свобод президента Рузвельта были опубликованы в нашей прессе спокойно и без комментариев; но даже и это зародило в нас новую надежду. В пропаганде, направленной в оккупированные области, эти документы были использованы до предела, для того, чтобы создать у партизан уверенность, что они сражаются за новую Россию, а не за ту, которая была им знакома по террору и однопартийной тирании. В своих страданиях и отчаянии, люди были готовы принять дым пропаганды за дыхание свободы.

Режим и народ, оба боролись за спасение страны, — но их надежды и цели были противоположны, как два полюса. Главной целью режима было спасти себя и свою систему для дальнейшего развития коммунистических авантюр у себя дома и заграницей; народ же был движим безграничной любовью к своей родине и надеждой на получение элементарных экономических и политических свобод.

Партизанское движение и тактика «сожженной земли» описывалось, как стихийное движение. В действительности же оба эти движения планировались Москвой и все время ею направлялись и контролировались.

Штаб партизанского движения был организовал в столице. Секретарь ЦК компартии Белоруссии, товарищ Пономаренко был поставлен во главе партизанской войны в Белоруссии. Украинским движением сопротивления командовал Демьян Коротченко, секретарь ЦККП(б)У. В Прибалтийских странах эту роль выполнял товарищ Лацис. Все это были старые партийные вожди, хотя много позже пропаганда подняла на щит незвестных людей, которые выдвинулись в огне действительной подпольной борьбы.

В соответствии с планами, некоторые крупные части Красной Армии оставлялись в германском тылу, для создания центров партизанского движения. Солдаты, отставшие от своих частей и оказавшиеся отрезанными, естественно примыкали к партизанским батальонам. Многие тысячи беспартийных советских чиновников, партийных активистов и им подобных, зная, что в германских руках их ожидает смерть и мучения, примыкали к партизанам. Немцы сами, своей политикой устрашения, сделали остальное.

Еще один вид планового сопротивления нигде и никогда не упоминался. Я имею в виду агентов НКВД, намеренно оставлявшихся в каждой области, отходившей к противнику, главным образом для слежки за поведением советских граждан в германском тылу. Десятки тысяч советских граждан были позже

казнены, сотни тысяч брошены в лагеря принудительного труда на основании этих наблюдений. Агенты НКВД примыкали также и к партизанским отрядам, так что знакомая система советского шпионажа среди своего народа процветала даже и при немецкой окупации.

Семьи оставленных в германском тылу со специальными поручениями, были эвакуированы в советский тыл и служили заложниками для обеспечения преданности агентов.

Подпольное движение сопротивления будет с полным правом прославляться в анналах русской истории. Оно показало мужество и стойкость нашего народа, его глубокую любовь к родной земле, его силу в решительный час. Но приписывать все это популярности Сталина, как это делают многие наивные чужестранцы, настолько же неверно, как и глупо. В целях истины надо сказать, что значительная работа во вражеском тылу была проделана специальными частями НКВД, подготовленными и снаряженными для диверсионной партизанской войны. Войска, подготовленные для специальных актов саботажа, непрерывно спускались на парашютах позади германских линий.

18 сентября правительство издало декрет о всеобщем военном обучении для всех мужчин от 16 до 50 лет, еще не призванных на фронт. Практически мужчины до 56 лет были призваны на активную военную службу, а до 58 лет в тыловые части. На практике, каждый мужчина, независимо от его возраста и физического состояния, способный к работе был обязан зарегестрироваться для воинского обучения после работы, которая в большинстве случаев составляла 12 часов в день. На площадях и скверах Москвы усталые, голодные и несоответственно одетые люди упражнялись с палками и макетами. Имея по одной или две винтовки на отделение, они должны были упражняться в стрельбе. Ни дождь, ни снег не останавливали их. Более того, часть их обучения состояла в наступлении по глубокой грязи, в ползании по снегу и слякоти.

Пусть романтики описывают все это, как лишнее доказательство боевого пыла. Правда звучит не так великолепно. Обучение было обязательным. Уклонение наказывалось как дезертирство, посредством революционных трибуналов НКВД. Даже в отношении армии писалось бы меньше героических сказок, если бы внешний мир знал характер дисциплины, навязанной Красной Армии, особенно степень, до которой применялись максимальные наказания, без суда, за самые пустячные провинности. Это верно, что русские солдаты совершали героические подвиги, удерживая свои посты в безнадежных положениях, отдавая свою жизнь за спасение своей

страны, своего народа и своих товарищей. Подданные Сталина дрались против Гитлера так же беззаветно, как и феодальные рабы при Александре I сражались против Наполеона. Но те, кто изображают наши национальные качества мужества и презрения к смерти, как специальное достижение тоталитарного сталинского режима, либо дурачат себя, либо дурачат других.

За границей неизвестно — а правда требует это разоблачить — что на фронтах позади Красной Армии находились специальные заградительные отряды. Они были составлены из войск Управления Государственной Безопасности НКВД и были связаны с политическим управлением армии. Задача их была в том, чтобы задерживать бегущих солдат, препятствовать отступлению без приказа. Они имели право расстреливать каждого, покинувшего свою часть без разрешения, по какой бы то ни было причине, и не колебались использовать это право; однако, обычно они передавали задержанных солдат военным трибуналам.

Мы привыкли к зрелищу грузовиков, наполненных дезертирами, под охраной чекистов, выезжающих из тюрем. Их отвозили в какое либо уединенное место для массовой казни. Головы их были понурены лица землисто-серого цвета; тощие, несчастные создания, дрожавшие в своих оборванных военных формах. Я знаю из осведомленных источников, что процент дезертиров был необычайно высок.

Это явление может об'яснить тот факт, что миллионы людей, неспособных драться по любым цивилизованным стандартам, были спешно мобилизованы и посланы под огонь, без надлежащей подготовки. У них возникал животный страх. Наши простые крестьяне могли противостоять опасностям, которые они могли понять; но современ- ные танки, огнеметы, бомбежка с воздуха парализовали многих из них ужасом, прежде, чем они могли к этому привыкнуть. При недостатке вооружения для противодействия оружию врага, принужденные применять «молотовский коктейль» вместо противотанковых ружей, новые рекруты не выдерживали. Правительство удобно для себя именовало трусостью результаты своих собственных непростительных ошибок. Презирая жизнь своих подданных, оно охотно противоставляло русское мясо германскому металлу, русскую кровь — германскому бензину.

Ужасное количество советских потерь много раз приводилось, как доказательство русского героизма — его надо привести, хотя бы один раз, как доказательство зверской жестокости Кремля.

ОТРЫВОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Эвакуация Москвы началась в августе и продолжалась долгое время в 1942 году, пока опасность для столицы не была окончательно снята. По мере того, как учащались налеты бомбардировщиков нацистов, население начало покидать столицу на свой страх и риск. Оптимисты и горячие головы кричали о трусости и дезертирстве. Однако скоро, когда железные и шоссейные дороги вокруг столицы оказались забитыми, мы ругались почему власти сами не организовали своевременно этой трусости и дезертирства. Мы, то принимались за эвакуацию своего завода, то получали приказ оставаться на месте, а затем еще приказ выезжать. Так было и на всех остальных предприятиях столицы.

Хотя нацисты достигли предместий Москвы только через месяц, атмосфера в столице к концу августа была уже такая, как у оставленного города. Высшие чиновники отправляли свое имущество и семьи в Свердловск и другие уральские города на автомашинах, самолетах и на поездах. Сотни наших вождей жили в своих кабинетах, держа чемоданы и служебные автомашины наготове для поспешного бегства. Мы работали целыми днями, складывались по вечерам и ликвидировали результаты налетов по ночам.

Весь ответственный персонал нашего завода, как и на всех других промышленных предприятиях столицы, был об'явлен на «военном положении». Я не приходил домой неделями, ел и спал на месте работы. Я никогда не забуду сцен ужаса — и героизма — когда мы оставались на наших постах и у наших машин, пока вокруг падали снаряды и бомбы, германские самолеты кружились над городом, а женщины и дети истерически кричали и плакали. Это было испытание нервов, в котором русский народ вокруг меня проявил выдающееся мужество.

К концу сентября страх и беспорядок достигли крайней степени. Неравноправность при эвакуации наполняла сердца москвичей яростью. Впервые за двадцать лет я слышал открытую брань начальства. Каждое предприятие и учреждение составляло списки лиц, имеющих право пользоваться поездами до Свердловска, Куйбышева и других отдаленных мест. В теории единственным основанием являлось «незаменимость»; на практике окончательными арбитрами были связи и политические интриги.

Паразиты политической власти находили места для своей мебели, гардеробов своих подруг, родственников и знакомых, в то

время как тысячи несчастных семей располагались лагерем вокруг вокзалов, со своими кульками и чемоданами, в напрасной надежде на место в вагоне или хотя бы на площадке вагонов идущих на восток поездов. И это были счастливчики, москвичи имевшие официальное разрешение на от'езд. Тысячи других уходили пешком.

Эвакуируемые вокруг вокзалов становились более многочисленными, более шумливыми с каждым днем.

Их страхи заражали все остальное население столицы. Я бывал на конференциях по обсуждению этого вопроса. Если бы мы имели дело со скотом, мы бы хоть беспокоились о корме для него на длительное путешествие. А в этом случае, никто ни одного раза не поднял вопроса о продовольствии для эвакуируемых, о том, как они достигнут указанного пункта и как они там будут размещены.

Когда толпы на вокзалах стали уже слишком многочисленными, были наконец поданы товарные вагоны, вагоны для скота, открытые угольные площадки, даже вагоны метро. Без очистки и дезинфекции все эти вагоны должны были вести советских граждан в их долгий путь. Процесс отправки сопровождался слезами и истерией. Терялись дети, разделялись семьи, людей заставляли бросать их последнее имущество. Часто хаос этой эвакуации еще увеличивался рейдами немецких самолетов. Между тем, как бы в насмешку над москвичами, поток роскошных правительственных автомашин лился по улицам Москвы, нагруженный семьями и имуществом нашей элиты. Пропасть между классами казалась еще более глубокой и уродливой в обстановке войны и опасности.

В первую неделю октября столица казалась умирающей. Город, как и отдельный человек, может переживать нервный паралич. Трамваи и автобусы работали с перебоями. Магазины были почти пусты, но голодные люди все равно выстраивались в очереди. Дома и учреждения не отапливались; вода и электрический ток подавались не регулярно и часто отсутствовали.

День и ночь дымились трубы НКВД, Верховного суда, Комиссариата Иностранных Дел, различных других государственных и партийных учреждений. Наши вожди поспешно уничтожали следы своих преступлений за последние два десятилетия. Правительство, очевидно по приказу свыше, заметало свои следы. Первый октябрьский снег был черным от горелой бумаги.

Однажды, в стройжайшей тайне, чекистами был погружен на грузовик футляр, в котором лежит набальзомированное тело

Ленина на Красной Площади. Оно было доставлено в специальном вагоне до города Тюмень в Сибири, где оно оставалось четыре года, до конца войны. Наиболее ценные предметы из Кремля и из музеев также были вывезены. Бомбардировка Москвы становилась с каждым днем все более частой и устрашающей, хотя и не такой разрушительной, как мы все ожидали.

12 октября немцы забросали наш Болшевский район листовками. Я руководил группой доверенных коммунистов, которые подбирали эти немецкие обращения. Нам, конечно, запретили читать их, — каждый найденный с листовкой подлежал немедленному аресту. Но мы пытались читать их во время этой работы. Они не произвели на нас впечатления, даже наполнили нас презрением к врагу. Германская пропаганда казалась мне необычайно глупой. Ее наглость была возмутительной и она делала ошибку, смешивая любовь к родине с любовью к Сталину.

В ту же ночь нас подняли по тревоге. Через полчаса три батальона наших молодых, полуобученных офицеров, в полном боевом снаряжении, были двинуты к западным подступам к Москве. Сорок восемь часов спустя около одной трети их вернулась назад, окровавленные, замерзшие, голодные, в подавленном состоянии духа; остальные никогда не вернулись. Большинство из этой молодежи были фанатичными комсомольцами. Они пошли в бой с криками: «За Сталина! За партию!»

Начиная с 13 октября мы все лежали в снегу в лесах Болшево, охраняя подходы к столице с нашей стороны, где ожидалось, что будут высажены немецкие авио-десанты. На мне было летнее белье, легкие брезентовые сапоги, летняя фуражка, легкий армейский плащ, при температуре значительно ниже нуля. Мое вооружение состояло из учебной винтовки и ровно трех патронов. Хотя мы все были офицерами, мало кто из нас был лучше защищен от холода, только отдельные счастливцы имели по пяти патронов. Боеприпасы, которые нам обещали, так и не прибыли. Многие из нас конечно имели с собой теплые гражданские вещи; лично я, например, имел хорошую пару сапог, шерстяное белье и другие вещи. Но нам строго запретили пользоваться чем либо, кроме казенных вещей. Итак, мы мерзли и страдали во славу военной глупости.

Эти дни и ночи в снегу, после которых многие из моих товарищей вернулись обмороженными и простуженными, навсегда запечатлелись в моем мозгу. Еще более угнетающим, чем недостаток одежды, снаряжения и вооружения, действовал

вид автомобилей, набитых паразитами и их имуществом, бегущих из Москвы. Один офицер, скорчившийся рядом со мной в снегу, воскликнул:

«Если я увижу еще один автомобиль с бюрократами, я наделаю дырок в этих сволочах».

«Лучше сохрани свои три пули для немцев», сказал я.

Маршируя по утрам назад из Болшево, усталые, голодные, замерзшие, мы пели одну из предписанных песен:

«За родину, за Сталина!»

В эти моменты у меня было мало любви к Сталину. Но я ее пел, вместе с другими. Слова наших торжественных песен и чувства в наших сердцах не всегда совпадают.

Вечером пятнадцатого две роты квалифицированных инженеров были отправлены в Москву с секретным заданием. В моей роли партийного организатора, я знал о характере их задания, сообщенного мне, как величайший секрет. Они должны были присоединиться к другим группам из специальных частей НКВД. Их работа заключалась в минировании Москвы. Взрывчатые вещества были положены под мовсковское метро, под главные кремлевские здания, под электростанции, водопровод, железнодорожные станции, музеи, театры, основные правительственные здания, коммуникации и укрепления. Все было подготовлено, чтобы поджечь столицу. При этом погибло бы большое количество немецких, но еще большее количество русских жизней. Мины были удалены только поздним летом 1942 года.

Утром шестнадцатого полковник Вар- варкин послал меня в Москву. Я нашел город в полной панике. Всюду распространялись самые истерические слухи. Говорили, что в Кремле произошел дворцовый переворот; что Сталин арестован, что немцы уже в Филях, на краю города. Перепуганные люди были уверены, что они видели немецких парашютистов на Красной площади. Они говорили один другому, что немцы были среди нас в красноармейской форме. Толпы бросались из улицы в улицу, а затем снова назад, во внезапных волнах паники.

Начались грабежи и беспорядки. Обезумевшие массы опустошали склады и магазины. Создавалось впечатление, что правительства больше не существует; что миллионы москвичей предоставлены их собственной участи, без пищи, топлива и без оружия. Порядок отсутствовал.

В Савое, Метрополе и нескольких других шикарных отелях и ресторанах перепуганные женщины и просто проститутки пьянствовали с высшими чиновниками, которые еще не покинули города. Вино и водка лились рекой. Может быть эти оргии и не

были такими дикими, как об этом говорилось, но сами эти возмутительные истории были симптоматичны для краха.

Впоследствии я узнал в подробностях, что некоторые из этих рассказов были верны. В помещении Совнаркома, на Садово-Каретной, например, высшие чиновники собрали женщин служащих в пьяном дебоше, который продолжался много часов. В сотнях других правительственных учреждений и в частных квартирах люди вели себя так, как будто наступил конец света. Воздушные бомбардировки и слухи доводили панику до сумасшествия.

Отчаявшиеся мужчины, женщины и дети мчались по улицам и осаждали станции. Семнадцатого толпы людей, в поисках пищи, снова громили склады, рынки и магазины. Милиция бездействовала. Из мясного комбината им. Микояна были вытащены все запасы мяса, колбас и консервов. Голодные люди, покинутые их правительством, штурмовали кондитерскую фабрику около площади Маяковского, распределяя между собою тонны кондитерских изделий, сахара и другого сырья. Десятки других предприятий были разграблены.

Беспорядки продолжались всю ночь и большую часть восемнадцатого октября. Тысячи коммунистов, считая, что их поймали в западню в обреченном городе, уничтожили свои партийные билеты, политическую литературу и потреты Сталина и других вождей. Я могу утверждать ужасную правду, подтвержденную мне потом сотни раз осведомленными людьми.

Немцы могли взять в эти дни Москву буквально без борьбы. Две или три парашютных дивизии, сброшенные с самолетов, заняли бы город без боя. (Здесь Кравченко снова допускает фактическую ошибку. Немцы в эти дни еще довершали ликвидацию восьми армий Тимошенко в двойном окружении, в районе Брянск-Вязьма и потому, конечно, взять в эти дни Москвы не могли. Прим. перевод.)

Начиная с девятнадцатого, положение улучшилось. В город начали прибывать первые эшелоны сибирских и дальневосточных частей. Милиция и НКВД проснулись от своей летаргии. В этот день Сталин издал, за своей подписью, декрет, который был роздан руководящим чиновникам и вступил в силу немедленно, хотя был опубликован только через два дня. Сам тон декрета отражал тот факт, что Москва была в огне неорганизованного бунта.

«С целью обеспечения обороны Москвы с тыла, с целью укрепления тыла наших войск, а также с целью прекращения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов германского фашизма», начинался декрет. Затем он предписал

крайние наказания для всех категорий населения: «Провокаторы, шпионы и другие агенты врага, уличенные в нарушении закона и порядка, должны расстреливаться на месте».

Приказ был адресован генералу Синилову, коменданту Москвы, но он предусматривал: «В его распоряжении должны находиться войска внутренней безопасности НКВД, милиция и отряды рабочего ополчения», последнее было завуалированное наименование для коммунистов. Сталин предпочитал не доверять этой задачи Красной Армии, боясь, в свете опыта царского времени, что регулярные солдаты могут отказаться расстреливать свой собственный народ. Вместо этого он расчитывал на животный страх, производимый одним именем НКВД, также как в подобных обстоятельствах царские советники обращались к наводящим ужас казакам и жандармерии.

ОТРЫВОК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

В конце мая 1942 г. Кравченко был назначен в Совнарком РСФСР на должность начальника отдела военного снабжения и находился на этом посту до середины лета 1943 года. Пребывание на этой должности позволило ему сделать ряд интересных наблюдений не только о жизни в высших кругах Кремля, но и об общем положении в советской оборонной промышленности во время войны. Наиболее интересные отрывки из этих двух глав книги Кравченко приводятся ниже.

* * *

Около одиннадцати ко мне постучала моя секретарша, интеллигентаая женщина приятного вида.

«Виктор Андреевич, будете завтракать?»

«Да, пожалуйста. А как вы? Вы уже завтракали?»

«Я имею право только на стакан чая и на кусок сахара,» вздохнула она. «Я приношу хлеб с собой, из дома. Война… Что поделаешь…»

Скоро пришла кельнерша с подносом еды. Это была женщина около тридцати лет, чисто одетая, в белой шляпке. Она выполняла свою работу тихо и аккуратно, разложив на маленьком столике белую салфетку и расставив на ней пищу: два яйца, немного консервированного мяса, белый хлеб, масло, стакан горячего чая, несколько кусков сахара, несколько пирожных. Все, за исключением чая и яиц, было из американских поставок. Хотя руки женщины носили следы тяжелой работы, они были чистыми.

«Я вижу, что вы носите маникюр», сказал я с улыбкой.

«Конечно. Ведь я служу большим людям», сказала она. «Ну, кушайте на доброе здоровье, Виктор Андреевич».

Было что-то в ее понурых чертах, что заставило меня умерить свой аппетит. Я оставил одно яйцо, немного мяса, несколько кусков хлеба и кусок сахара, как будто я не мог больше с'есть. Когда я позвонил, моя секретарша вошла, собрала остатки на поднос и вынесла их. Немного позже принеся мне какие то бумаги на подпись, она смущенно задержалась на мгновение около моего стола.

«Мне стыдно говорить, Виктор Андреевич», сказала она, «но вы интеллигентный человек и вы поймете. Я позволяю себе доедать то, что остается от вашего завтрака. Пожалуста, извините меня… но так трудно оставаться в живых».

«Это совершенно правильно. Я рад, что вы это сделали. Но, откровенно говоря, я думал, что кельнерша…»

«У нас с Лизой соглашение», прервала она. «Один день я беру остатки, а другой — она… Голод ужасная вещь, Виктор Андреевич. Он сильнее, чем стыд».

И так, во все время моего пребывания в Совнаркоме, я ел только половину своего завтрака, оставляя вторую половину для Лизы и моей секретарши. Лиза, как я узнал, уносила свою порцию домой для ее двух маленьких детей; ее муж был на фронте. Обе эти женщины существовали только на рабочий паек: 400 грамм сахара, 500 грамм крупы и 400 грамм жиров в месяц, плюс 400 грамм хлеба в день. Когда я оставил недоеденным мой первый завтрак, то в переводе на рыночную стоимость, это составляло по меньшей мере 100 рублей. Одно яйцо, например, стоило 40 руб., а Лиза зарабатывала 150 рублей в месяц.

Около полудня у меня был другой посетитель, человек заведывавший особым секретным отделом, глазами и ушами НКВД в каждой советской организации. Это был молодой человек, типичный агент полиции, хотя и в штатском платье. Он был деловит и несколько слишком официален, держа себя так, как будто он был действительным хозяином в моем кабинете.

«Привет, товарищ Кравченко», сказал он. «Очень рад с вами познакомиться. Мы будем с вами часто встречаться. Вы здесь новый человек и вам нужно с самого начала познакомиться с некоторыми правилами. Мы воюем. Враг везде и мы должны быть очень осторожны».

«Конечно, конечно».

Так, вот правила для сохранения государственных секретов. Пожалуйста прочтите их медленно и внимательно и спрашивайте меня, если что либо будет неясно».

Он вручил мне пачку в десять или двенадцать густо напечанных на машинке листков. В обычной советской смеси приказов и угроз, эти листки инструктировали меня, как обращаться с государственными, партийными и военными секретными документами, как охранять мой письменный стол, мой сейф и кабинет от постороних глаз, даже как препятствовать моему личному секретарю смотреть на некоторые типы официальных бумаг. Я узнал, что в Совнаркоме было два штата стенографов, обычный и секретный. Обычные письма могли диктоваться обычному штату, но секретные должны были даваться только секретным стенографам, которые должны вызываться через особый отдел. Правила предписывали, что каждый приказ от моих начальников должен быть в письменном виде.

«Но как, если товарищ Уткин и товарищ Памфилов (заместитель и председатель Совнаркома) или кто либо из Кремля дадут мне устные инструкции?» спросил я в этом месте.

«В этом случае вы должны немедленно внести их слова в ваш личный дневник. То же самое относится и к содержанию важных телефонных разговоров. Записывайте все без задержки — это ваша лучшая защита на случай последующих недоразумений. Товарищ Сталин учит нас доверять людям, но в то же время контролировать и еще раз проверять».

После того, как я кончил чтение, мой посетитель распространился на эту тему. Суть его лекции была в том, что я не должен доверять никому и предполагать, что другие мне также не доверяют. Должны быть письменные доказательства, подробные отчеты о каждой встрече или разговоре. Взаимное недоверие было не только фактом в советском аппарате, но оно было признанным, обязательным способом жизни, единственным шансом для самосохранения. Вновь я подписал документ, гласящий, что я ознакомился с правилами и знаю о наказаниях о их нарушениях.

В конце он попросил меня прочесть и вникнуть в совершенно секретный документ, подписанный Сталиным и Молотовым. Это было решение Политбюро, определявшее права и обязанности Совнаркома. Оно перечисляло самые мелкие подробности и не оставляло никакого сомнения в том, что правительство, представленное Совнаркомом, было только слепым орудием и слугой Политбюро. Я подписал обычную форму держать свой рот закрытым. Эта подчиненность правительства партии была известна каждому интеллигентному советскому гражданину и все же она считалась тайной.

До свидания, товарищ Кравченко. Как я сказал, мы будем с вами часто встречаться.

* * *

Те слои правящего круга, к которым я принадлежал, были во многих отношениях самыми несчастными в советской иерархии. В целом, мы имели больше ответственности, чем власти. Мы делали самую тяжелую работу, а обычно благодарность получали наши начальники. Мы были слишком высоко поставлены, чтобы отдыхать, как это могли делать меньшие начальники и рядовые служащие, но недостаточно высоко в пирамиде власти, чтобы перекладывать вину и работу на плечи других.

Но из всех наших испытаний самым тяжелым была

бессоница. Неделя, когда я мог спать больше пяти часов в сутки, была исключением. Основная масса наших служащих и специалистов работала от девяти до пяти часов, хотя время от времени я мог задержать их и дольше или вызвать кого либо на вечер. Но мой рабочий день продолжался от десяти или одинаццати часов утра до трех-четырех часов следующего утра, а часто и позже. Редко я мог украсть несколько вечерних часов для своей жены. Иногда я позволял себе один или два часа беспокойного сна на диване в моем кабинете, с запертой дверью и телефоном у уха, чтобы меня не поймали за этим делом.

Расписание рабочего дня высших чиновников в Москве является необычайным, приспосабливаясь к особенностям рабочих привычек одного единственного человека. Сталин нормально начинает свой рабочий день около одиннадцати часов утра, работая непрерывно до четырех или пяти часов дня. Затем он обычно выключается до десяти или одинадцати часов вечера, оставаясь на работе до трех-четырех часов утра или еще позже. Из этих двух сессий, ночная является, без сомнения, наиболее важной.

Существовали различные теории относительно странных рабочих часов диктатора. Одна заключалась в том, что это позволяло ему поддерживать личный контакт его чиновниками во всех частях его громадной страны, несмотря на семичасовое расхождение времени между самыми западными и самыми восточными районами страны. Другая теория была в том, что он намеренно разбивал жизнь своих подчиненных на две смены, чтобы уменьшить для них возможности личной жизни и общественных отношений.

Каковы бы ни были причины, но чиновничество столицы регулировало свое существование по эксцентричным часам Сталина. Как по сигналу, бюрократия высших рангов включалась в работу, когда Хозяин (как мы обычно его называли в неофициальных беседах) входил в свой кабинет и успокаивалась только тогда, когда он отправлялся домой. Остальная страна, находясь в постоянной телефонной связи с центром и чувствительная к его склонностям, также отражала это расписание. В результате, прилив и отлив официальной жизни во всей России определялись приходами и уходами одного полного, изрытого оспинами грузина. Одна организация, конечно, работала 24 часа в сутки — НКВД. Ей не нужно было придерживаться никакого расписания, потому что она — никогда не спит. Начиная с десяти часов утра, в рабочие дни, большие, не пробиваемые пулями Паккарды с их зеленоватыми стеклами несутся с ревом по пригородному Можайскому шоссе, вдоль

Арбатского бульвара и оттуда к различным цитаделям «власти». По звуку сирен, по тому, как возбужденные милиционеры останавливают движение, чтобы дать путь этим мчащимся машинам, москвичи знают сейчас же, что это Хозяин, Молотов, Берия, Маленков, Микоян, Каганович и другие подобные вожди следуют через столицу. За каждым лимузином следует автомобиль (обычно «Линкольн») и впереди его другой такой же, набитые сильно вооруженной охраной НКВД в штатской одежде. Вожди конечно, путешествуют всегда отдельно, а не группой, чтобы уменьшить опасность для их жизни.

Пути следования намечаются специальным отделом секретной полиции, ответственной за безопасность высших чиновников. Каждый дюйм пути тщательно патрулировался. Жители каждого дома по такой дороге известны властям и сомнительные люди быстро удаляются. Тысячи людей в гражданском платье и в форме расставлены на важнейших местах, держа правую руку на револьвере, они знают, что их собственные жизни немедленно окончатся, если что либо случится с любимыми вождями за непробиваемыми пулями стеклами. Москвичи никогда не останавливаются, чтобы посмотреть, как проносятся мимо Сталин и его ближайшие помощники. Предусмотрительные люди отходят с пути и стараются быть незаметными, когда мимо следуют их властители.

Чиновники на одну или две ступени ниже — такие люди, например, как Памфилов и Уткин в нашем Совнаркоме — стараются быть уже на своих постах, когда Сталин появляется в своем кабинете, и остаются там до тех пор, пока он уйдет. Что касается меня, я стремился быть на работе до того, как прибывали мои непосредственные начальники, также как мои помощники уже были под рукой, когда я прибывал в Совнарком. Я никогда не уходил без специального разрешения, пока мои начальники не окончат своей ночной смены, так что мой рабочий день продолжался обычно семнадцать-восемнадцать часов. Уткин и Памфилов были уверены, что я буду на другом конце провода, когда бы они меня ни вызвали, точно также, как Сталин или Молотов были уверены, что Памфилов будет на работе, когда они ему позвонят. Вероятно официальный распорядок дня ни в одной другой большой стране мира никогда еще не был так приспособлен к малейшему кивку одного человека.

Наш Совнарком был исполнительным и «контрольным органом» для всемогущего Государственного Комитета Обороны. Его основной функцией в то время было направлять и контролировать выполнение приказов по военному снабжению в пределах РСФСР. Но так как немцы оккупировали Белоруссию,

Украину и часть Кавказа, наша территория охватытала почти все остающиеся производственные возможности и население страны, так что в конечном итоге мы были ответственны за наибольшую часть военной продукции того времени. Часть этой колоссальной работы была сконцентрирована в отделе, которым я заведывал. Моя жизнь превратилась в ожесточенную борьбу за отыскание материалов, топлива, рабочей силы. На меня кричали и лаяли мои начальники и отчаянные исполнители Государственного Комитета Обороны. В высших кругах советского правительства вероятно больше ругаются, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Грубая, матерная ругань является самым очевидным и вероятно единственным напоминанием о «пролетарском» происхождении нашего правительства. Мастером в этой области является Каганович; мы говорили, что он матерится «штопором», восходя до самых великолепных вершин площадного языка. Но Молотов, Ворошилов, Андреев, и другие близко следовали за ним в этом отношении и сам Сталин также не отставал. Однако, я должен признать, что громадное большинство вождей, с которыми я приходил в соприкосновение, были способными людьми, которые знали свое дело; динамичные люди глубоко преданные стоящей перед ними работе.

Были недели в моей жизни, посвященные добыванию и налаживанию производства таких простых вещей, как ножницы для резки колючей проволоки, траншейные лопаты и фонари для замены недостающих карманных, электрических фонарей. Я никогда не забуду одной ночи, когда генерал Красной Армии сидел в моем кабинете и умолял, со слезами на глазах о таких ножницах. Тысячи наших солдат, говорил он, калечались и гибли из-за недостатка этих простых вещей. В его присутствии я звонил комиссарам в Москве и директорам заводов в городах.

Но какой был смысл всех моих угроз и криков, когда заводы не имели необходимой стали, инструментов или машин.

Я находился в постоянном контакте с маршалом Новиковым, маршалом Воробьевым, генералом Селезневым, генералом Волковым, адмиралом Галлером и десятками других военных лидеров. Слишком часто, увы, мы могли сделать немногим больше, чем об'единить наши жалобы о недостатках во всех направлениях.

Забуду ли я когда либо время, когда мы собирали тысячи простых школьных компасов и экономно распределяли их между различными фронтами. Приказ за подписью Сталина требовал пятьдесят тысяч военных компасов, но необходимой магнитной стали просто невозможно было получить.

Забуду ли я когда либо заседания, отчаянные телефонные

звонки, отборные ругательства и надрывание сердца в поисках простых подков? Тысячи животных, а часто и кавалеристов, гибли из-за недостатка подков, но оказалось, что их производство задерживалось отсутствием металла и малой производственной способностью двух уральских заводов, производивших подковы. Требование на подковы пришло от маршала Буденного и, таким образом, случайно дало мне представление, где он находился. Он был удален от своего высокого командного поста и после этого исчез; ходили даже слухи, что он был ликвидирован. Теперь я узнал, что его столкнули до заведывания отделом кавалерийского снабжения.

День за днем я получал прямые и трагические доказательства неподготовленности нашей страны к этой борьбе не на жизнь, а на смерть. Десятки тысяч наших доблестных бойцов гибли из-за недостатка самых простых вещей. Ни яростные приказы Сталина, ни «строгие меры» Берии не могли выжать необходимого из заводов, страдавших отсутствием сырья и имевших рабочих, сидевших на голодном пайке. Достигавшие меня приказы носили часто истеричный тон и были переполнены угрозами самого жестокого наказания.

Мобилизация была проведена в размерах, невиданных еще ни в одной стране. Людская сила в промышленности и в сельском хозяйстве была истощена в тот момент, когда нужда в продукции была наибольшей. На фронт посылались люди от 16 до 56 лет. Последняя видимость медицинского отбора и браковки призывников была отброшена по секретному приказу Сталина. Десятки тысяч раненных посылались опять на фронт, пока их раны еще не успевали зажить. Мальчики и девочки школьного возраста, матери с маленькими детьми и даже крестьянки, оставшиеся без мужей, посылались на заводы.

ОТРЫВОК ДВАДЦАТЫЙ

В этом угрожающем кризисе человеческой силы, принудительный труд миллионов заключенных являлся жизненно важным и быть может даже самым важным фактором в спасении советского военного хозяйства.

Находясь в Совнаркоме, я много слышал о специальных проблемах, создаваемых концентрационными лагерями и тюрьмами в районах, находившихся под угрозой германской оккупации. Это рабское население было даже более необходимо вывозить, чем гражданское население. Их рабочая сила представляла значительную ценность, но, что еще более важно, эти заключенные едва ли могли любить советскую власть и могли оказать значительную помощь немцам. Еще одно соображение, без сомнения, было в том, что через этих заключенных внешний мир мог узнать кое какие чудовищные тайны о характере и особенностях советской рабской системы.

Некоторые из нас, в Совнаркоме, знали о случаях массового уничтожения заключенных, когда выяснилось, что их невозможно эвакуировать, это происходило в Киеве, Минске, Смоленске, Харькове, в моем родном Днепропетровске, в Запорожье. Один такой эпизод остался у меня в памяти в подробностях. В маленькой Кабардино-Балкарской советской «автономной республике», вблизи Нальчика, находился молибденовый комбинат НКВД, работавший на принудительном труде. Когда Красная Армия отступала из этого района, несколько сотен заключенных, по техническим причинам, не могли быть своевременно вывезены. Директор комбината, по приказу комиссара кабардино-балкарского НКВД товарища Анохова, расстрелял из пулеметов этих несчастных мужчин и женщин до одного. После того как этот район был освобожден от немцев, Анохов получил свою награду и был назначен председателем совнаркома этой республики.

Требуя от комиссариатов увеличения продукции, я часто сталкивался с острым недостатком рабочей силы. Народные комиссары знали положение лучше, чем я; они часто просили Памфилова о дополнительной рабочей силе из резервов НКВД и он, в свою очередь, делал заявки НКВД на рабочую силу для того или иного важнейшего предприятия. Иногда он ставил эти вопросы прямо перед Вознесенским, Молотовым, Берией. Главное Управление лагерей принудительного труда, известное как ГУЛАГ, возглавлялось генералом НКВД Недосекиным, одним из помощников Берии. Недосекин получал приказы на контингенты

рабов от Государственного Комитета Обороны, за подписями Молотова, Сталина, Берии и других членов его, и соответственно действовал.

Я живо вспоминаю свою беседу с одним из руководителей ГУЛАГ. Он должен был срочно поставить одному комиссариату несколько сотен заключенных. Мы находились под страшным давлением со стороны Памфилова, на которого, конечно, также нажимали сверху и я устроил сцену этому представителю ГУЛАГ из-за рабочей силы.

«Но, товарищ Кравченко, будьте благоразумны», прервал он мою речь. «В конце концов не только ваш Совнарком поднимает вой из-за рабочих. Государственный Комитет Обороны требует их, товарищ Микоян делает нам несчастную жизнь, Маленкову и Вознесенскому нужны рабочие, Ворошилов требует рабочих для строительства дорог. Каждый, естественно, думает, что его работа наиболее важна. Но что же мы должны делать. Мы ведь еще не выполнили нашего плана арестов. Требование превышает наличность».

Планы арестов! Фантастический, хладнокровный цинизм этой фразы еще и сейчас заставляет меня содрогаться. Но что делало ее особенно невероятной, это тот факт, что чиновник совершенно не представлял себе ужаса своего замечания — аресты и заключение в тюрьму стали обычным делом в его жизни. Он, конечно, не хотел сказать, что «аресты производились действительно с целью покрыть наш недостаток в рабочей силе. Он просто жаловался, на советском жаргоне, на тот факт, что многомиллионная армия принудительного труда была недостаточна для удовлетворения всех запросов.

ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Я получил свидетельство нашей трагической неподготовленности к войне почти из первоисточника, эти факты раскрыло мне заседание в Кремле, созванное одним из самых влиятельных помощников Сталина, Алексеем Косыгиным. Так как повестка дня включала много вопросов, сосредоточенных в моем отделе, Уткин пожелал иметь меня при себе, при условии не выступать на этом высоком собрании, если ко мне не обратятся.

Косыгин контролировал от Политбюро пять комиссариатов, а также заведывал вопросами военно-инженерного вооружения. Задолго до часа дня, когда было созвано совещание, в его приемной собрались пять наркомов. Мы несколько размякли, сняв на минуту официальные маски. Эти люди знают друг друга близко, даже слишком близко. Власть, в конце концов, ведь представляет очень ограниченный круг. Видны улыбки, разминание ног, обмен сплетнями.

Товарищ Гинзбург, нарком строительной промышленности, толстый маленький человечек, с лысой головой и толстыми стеклами очков, сидит в углу, спокойно пьет чай и жует пирожные. Высокий мужчина, в косоворотке под пиджаком, жует яблоко; это Акимов, нарком текстильной промышленности. Я следую его примеру и погружаю зубы в большой, сочный плод. Комиссар Лукин, глава легкой промышленности, подмигивает мне. Он известен как шутник и забавник.

«Сколько времени вы будете здесь нас мучить?» обращается Лукин к одному из людей Косыгина. «Я хочу есть — например, яичницу с салом. И стакан водки, чтобы промыть это, также не повредил бы».

«Да, вам сегодня надо подкрепиться», отвечают другие, смеясь. «Вам будет чертовски жарко. Лучше подготовьтесь».

Все смеются, за исключением товарища Соснина, наркома строительных материалов, высокого человека с худым и мрачным лицом. Его угрюмость понятна: у него неблагодарная работа, его наркомат «получает жару» от хозяев на каждом заседании. Противоположность хроническому раздражению Соснина представляет веселый Окопов, нарком машиностроительной промышленности. Только недавно он был просто директором одного из заводов на Урале. Сейчас он нарком и, говорят, пользуется большим расположением Микояна. Его быстрый под'ем по правительственной лестнице приписывается всеми его успеху в производстве нового ракетного орудия, так называемой «Катюши», и все еще держится в большой тайне. Окопов —

низкорослый армянин, с ухмыляющимся лицом и смешливыми глазами.

Затем прибывает маршал Воробьев, в сопровождении генерала Калягина. Воробьев — помощник Сталина по инженерным войскам и снабжению. Так как его вопросы также проходят через мой отдел Совнаркома, мы с ним уже знакомы и он тепло меня приветствует. Мы нуждаемся друг в друге и он, также как и Калягин, знает, насколько серьезно я работаю, чтобы удовлетворить нужды фронта. Посредине болтовни и чаепития наши взоры обращены на большую дубовую дверь, ведущую в кабинет Алексея Косыгина. Наконец, эта дверь отворяется.

«Алексей Николаевич приглашает вас на заседание», об'являет секретарь.

Голоса смолкают. Улыбки исчезают. Каждый принимает свою самую официальную маску. В присутствии Косыгина мы только на одну маленькую ступень отдалены от самого Любимого Вождя. Комната эта велика, с высоким потолком, совершенной овальной формы. Портреты всего Политбюро равномерно распределены вдоль кремовых стен. Мое внимание привлекает большой радиоприемник заграничной марки; обыкновенные смертные не имеют права во время войны иметь радиоприемники. Стол заседаний, покрытый зеленым сукном, достаточно велик, чтобы за ним могли разместиться тридцать человек.

Косыгин, сидящий во главе стола, одет в костюм заграничного покроя. Лицо его угрюмо и носит такой же отпечаток бессоницы, как и мое. Он отвечает на приветствия наркомов и генералов короткими кивками.

«Садитесь», приказывает он, — «докладывает начальник ГВИУК'а».

ГВИУК — это сокращенное название управления, возглавляемого маршалом Воробьевым. Маршал встает и начинает говорить. Тот факт, что к нему обратились не по имени и титулу, не проходит мимо нас, а меньше всего мимо самого маршала, это показывает, что Косыгин в плохом настроении. Мы можем ожидать бури.

Маршал Воробьев говорит минут пятнадцать, сверяясь с бумажкой. Он приводит множество цифр. Он рисует мрачную картину недостатка снабжения. Нет моторных лодок для форсирования рек, говорит он, и это стоит нам тысячи жизней. Нет готовых понтонных мостов, нет мин для задержания неприятельского наступления, нет моторизированных ремонтных мастерских, нет телефонных проводов и инструментов, нет простых печей для траншей, нет даже лопат и топоров для пехоты.

Глаза Косыгина опущены и он нетерпеливо и раздраженно стучит пальцами по столу. Мускулы его лица нервно дергаются. Почему нет ничего для противодействия сатанински успешливому и механизированному врагу? повторяют мои мысли. Почему мы проворонили эти два года мира? По мере чтения этих статистических данных, чувства маршала прорываются через его военную выдержку. В его горле чувствуется сжатие, когда он восклицает:

«Люди тысячами умирают на фронте в эту самую минуту! Почему мы не можем их снабдить простыми лопатами и топорами, ножницами для резки проволоки! Наши бойцы делают мосты из своих кровоточащих тел, потому что мы не можем дать им инструментов для резки проволоки! Товарищи, это позор, позор! У нас нет фонарей, простых керосиновых фонарей. Восемь раз за последние несколько месяцев товарищ Сталин лично приказывал обеспечить производство этих фонарей, но фронт все еще их не получает. Мы не имеем камуфляжного оборудования. Я прошу вас товарищи, стоящие во главе промышленности, от имени простых солдат на фронте».

«Все ясно», говорит Косыгин, напряженным голосом, когда маршал кончил. «О каких фонарях вы говорите?»

Полковник, сидящий рядом с маршалом, поднимает примитивный, круглый фонарь, металическую раму со стеклянными оконцами.

«И мы не можем производить этой ерунды?» восклицает Косыгин.

Случайно я знаком со всем этим вопросом. С разрешения Уткина я говорю.

«Разрешите мне об'яснить, Алексей Николаевич. Производство фонарей задерживается, потому что мы не имеем листового металла, штамповальных машин и стекла соответствующего размера и качества. Большой завод листового металла, эвакуированный из Новомосковска, еще не приведен в рабочее состояние. Стекло мы можем получить только из Красноярска. Товарищ Соснин может нам сказать, почему оно не производится».

«Фонари будут сделаны», внезапно кричит Косыгин и стучит по столу. «Я говорю вам, что вся эта преступная инертность должна быть закончена. Если даже мне придется сорвать ленивую кожу со спины негодяев, военные поставки будут поступать, как требует этого товарищ Сталин. Соснин, докладывайте!»

Угрюмый Соснин кажется сломленным. Он говорит безнадежным, монотонным голосом. Машины в Красноярске в плохом состоянии, силовая станция не работает, нет

квалифицированной рабочей силы…

Косыгин вызывает Акимова и других. Час за часом длится заседание. Каждый доклад углубляет картину отчаяния. «Узкие места» в отношении материалов, машин, транспортных средств кажутся все более многочисленными — непроходимый лес «узких мест». Косыгин более не говорит, не задает вопросов. Он кричит, приказывает, устанавливает квоты и даты, не спрашивая никого — и все наркомы и генералы виновато ежатся, как группа школьников перед грозным учителем. Мы стараемся не смотреть друг на друга. Мы все знаем, и Косыгин это знает, что недостатки реальны, что ни один из нас не может произвести чуда.

ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Из моих поездок по заводам Московской области мне особенно запомнилась одна. Только современный Данте в пессимистический момент мог бы отобразить словами картину секретного подземного завода наркомата вооружения, работавшего, главным образом, на рабском труде.

В лесистый район Подольска, глубоко в Московской области допускали только по специальным пропускам. Чины НКВД несколько раз проверяли наши полномочия.

Поезд двигался медленно и мы неоднократно видели из окон большие группы заключенных — при определении этих несчастных не могло быть ошибки — распиливающих и раскалывающих деревья и тащущих их к железной дороге. Наконец, мы остановились в тупике этой ветки и вышли.

На поляне стоял военный завод. В лесах вокруг него, невидимые, с узкими и тщательно замаскированными входами, находились громадные подземные цеха, где тысячи заключенных и вольнонаемных рабочих вырабатывали гранаты, бомбы, мины и другие виды боеприпасов. Вся территория этого подземного мира была окружена рядами колючей проволоки и охранялась вооруженными охранниками НКВД, некоторые из которых имели при себе свирепых собак, специально дрессированных для этой работы.

Я прибыл с одним сотрудником, чтобы уладить конфликт между этим секретным заводом и другим, поставлявшим нам некоторые материалы. После вечернего заседания с руководителями завода, мне дали комнату для ночлега в гостиннице завода. Я рано встал, желая взглянуть на заключенных, отправляющихся на работу. Падал холодный дождь. Вскоре после шести часов, я увидел группу примерно в четыреста мужчин и женщин, по десять в ряд, марширующих под сильной охраной к секретным цехам.

Я видел годами этих несчастных рабов, во всяких условиях. Я не предполагал, что мне выпадет судьба увидеть существа даже еще более трагические, чем те, которых я наблюдал на Урале и в Сибири. Здесь ужас поднялся до сатанинских размеров, эти лица — болезненного желтоватого цвета и окровавленные — были ужасающими смертными масками, это были ходячие трупы, безнадежно отравленные химикалиями, с которыми они работали на этом живом кладбище.

Среди них были мужчины и женщины, которым можно было дать около пятидесяти лет, но были и молодые, в возрасте не

более двадцати лет. Они брели в полном молчании, как автоматы, не глядя ни направо ни налево. И они были фантастически одеты. Многие из них были в галошах, привязанных к ногам кусками веревки; другие обернули ноги в тряпье. Некоторые были в крестьянском платье; на нескольких женщинах были рваные астраханские платки; здесь и там я заметил остатки хороших заграничных костюмов. Когда мрачное шествие проходило мимо здания, из которого я смотрел, одна женщина вдруг упала. Два охранника оттащили ее; ни один из заключенных не обратил на нее ни малейшего внимания. Они были уже неспособны к выражению симпатии или каких либо человеческих реакций.

Другие подобные контингенты маршировали к подземному аду с других направлений, из колоний НКВД разбросанных по этим лесам, вероятно с расстояния в несколько километров. Вечером я видел колонну, примерно в два раза длинее, тащившуюся по грязи и дождю на ночную смену. Мне не дали разрешения спуститься под землю и у меня не было ни малейшего желания наблюдать это зрелище. Но от чиновников, с которыми я имел дело за эти два дня, я получил достаточно отчетливую картину бедствия и презрения к человеческой жизни. Подземный завод плохо вентилировался, был построен в панической спешке и с полным пренебрежением к здоровью рабочих. Нескольких недель пребывания в этих парах и удушливой вони было достаточно для того, чтобы навсегда отравить человеческий организм. Смертность была высока; человеческие существа подбрасывались в это пекло почти также непрерывно, как и химическое сырье.

Директором предприятия был коммунист с грубым лицом, носивший на своей гимнастерке орден и несколько других отличий. Когда я начал задавать вопросы о здоровьи рабочих, он посмотрел на меня удивленно, как если бы я беспокоился о здоровьи и об удобствах стада мулов.

«К несчастью, среди этих тварей мало квалифицированных рабочих», сказал он, «и у меня с ними много неприятностей. Вы спрашиваете меня, какого рода эти заключенные, политические или уголовники, это меня не интересует; это дело НКВД, который поставляет мне рабочие руки. Все что я знаю, это то, что они враги народа».

В течение месяцев я не мог изгнать из своего сознания эти воспоминания. Они действовали на мои чувства, даже когда мой ум и руки были заняты другими делами. И в последующие годы, когда я находился в другой стране, эти воспоминания охватывали меня, внезапно и жестоко, когда я слышал, как американцы

декламировали о советских чудесах. Я не мог удержаться, чтобы не думать: если бы я только мог посадить вас, дураков, на два дня в эту подземную фабрику, только на два дня, вы бы запели другие песни.

ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Отрасль национальной обороны, которой Кремль отдавал в течение десятилетий своих лучших людей, энергию, риторику, была авиация. И все же, наша отсталость в этой области стала достаточно очевидной для меня из документов, подписанных Сталиным и Молотовым, которые проходили через мой отдел.

Горы стали, меди и аллюминия были переданы Гитлеру по экономическому соглашению, сопровождавшему знаменитый пакт о «дружбе». Большая часть того, что осталось, была захвачена наступающими армиями врага. Авиационные заводы в Харькове, Киеве, Запорожьи, Таганроге и других городах были только частично эвакуированы; остальное досталось врагу. (Здесь Кравченко делает ошибку: все эти заводы были подорваны отступающими советскими частями. Прим. переводчика). В результате наши летчики в некоторых случаях летали на машинах, сделанных из фанеры. Нескольких зажигательных пуль было достаточно, чтобы их прикончить.

Осенью 1942 года Сталин издал срочный секретный приказ о немедленном изготовлении невоспламеняющейся смеси для покрытия самолетов. Это была резинистая смесь, предложенная институтом авиационных материалов. Сталин придавал величайшее значение этому начинанию.

«Предположим, нам удастся покрыть самолеты этим составом», спросил я однажды в своем кабинете одного генерала авиации, «действительно ли это поможет?»

Он нагнулся ко мне и прошептал: «Примерно также, как мороженное мертвецу… При прострелe новейшими немецкими зажигательными пулями, самолет будет вспыхивать, как спичка. Все это дело чисто психологическое. Оно может поднять боевой дух у наших летчиков, во всяком случае на некоторое время. Все они герои, но они ведь только люди; применение переделанных самолетов гражданской авиации, с деревянными деталями, для военных целей, едва ли хорошо для их нервов».

Десятки видов инструментов, специальной аппаратуры и материалов должны были быть изготовленны форсированным темпом и при наиболее неблагоприятных условиях, для того, чтобы привести нашу авиацию в боевую готовность к предстоящей зимней кампании. От количества наших потерь у меня болело сердце.

«Вся наша авиация будет парализована этой зимой, если не будут произведены эти специальные аппараты и инструменты, и, при том, быстро и в надлежащих количествах», писал маршал

Новиков Молотову в секретном докладе, который попал в мои руки.

Самое удивительное, что аппаратура, о которой просил маршал Новиков, была поставлена в количествах и того качества, которое предписывал соответствующий приказ Сталина.

Управление авиационной промышленностью было сосредоточено в руках Молотова, но большинство приказов подписывались самим Сталиным. Для ускорения производства я наметил планы снабжения рабочих на некоторых заводах хлебом и горячей пищей и они были проведены в жизнь, когда Сталин подписал их. Мы подвозили баллоны с кислородом из Горького в Москву на автомашинах. Мы доставляли карбид кальция в Москву из Эривани на самолетах через линию фронта. И в конечном итоге, необходимая аппаратура была произведена.

В связи с этим делом я посетил деревообделочную фабрику в предместьях Москвы для того, чтобы лично проверить, почему не поставляются катушки. Директор об'яснил мне, что у него не было достаточно квалифицированной рабочей силы; только несколько человек работали над заказом.

«А что делается там?» спросил я, проходя в другой цех, где производство, казалось, шло полным темпом.

То, что я увидел, наполнило меня яростью. Около ста пятидесяти человек было занято производством элегантной мебели: диванов, столов, зеркальных гардеробов, причудливых кресел, в большинстве из ценных сортов дерева.

«Вы говорите, у вас нет квалифицированных рабочих! Но, вот вы тратите их на шикарную мебель. Диваны — когда люди умирают на фронте! Это преступление и я предупреждаю вас, что я подниму скандал!»

Директор не казался испуганным. Он пожал плечами и мне показалось, что я заметил подавленную улыбку в углах его рта.

«Я не виню вас за то, что вы сходите с ума,» сказал он. «Я и сам в достаточной мере выхожу из себя. Но я только маленький человек. Что я могу делать, как не подчиняться большим людям? Пройдем в мой кабинет и я покажу вам».

В своем кабинете он представил книгу заказов. Мебель была заказана высшими правительственными, партийными и военными чиновниками. Среди них я помню, были имена Василия Пронина, председателя Московского совета; генерала Мухина и Щербакова, секретаря центрального комитета.

Я бросился в Совнарком и ворвался в кабинет Уткина. Я начал излагать факты перед ним. Он едва мог верить своим ушам.

«Делают роскошные кресла вместо военных поставок, приказанных товарищем Сталиным!» восклицал он. «Это

возмутительно! Ответственные в этом должны быть посажены в тюрьму!»

«Согласен — и я счастлив, что вы думаете также, как и я, Андрей Иванович! Но директор показал мне, что он делает эти гражданские товары для товарища Пронина, Щербакова, генерала Мухина…»

Выражение лица Уткина сразу изменилось. Гнев погас в его глазах.

«Так? Для Щербакова… я вижу», бормотал он растерянно. «Да… Хм… это, действительно, вопрос. Я думаю комфорт наших вождей, это тоже военная необходимость… Я это обдумаю».

Он обдумывал это долго, а тем временем фабрика продолжала производить мебель, а Красная Армия умоляла о телефонных катушках, ложах и прикладах для винтовок и т. д. Несколько раз не без чувства злорадства я возвращался к этому вопросу, но безрезультатно. Я не осмеливался через голову Уткина обратиться к Сабурову, а Уткин, очевидно, не желал делать себе политических врагов.

Находясь в военно-инженерном управлении я неизбежно оказался в курсе дел относительно одного тщательно охранявшегося и чрезвычайно ужасного советского военного секрета. Это была тайна, которая тяжко давила на всех тех, кто ее знал. Только победоносное окончание войны дает возможность говорить о ней.

Лишь небольшая часть населения России была снабжена противогазами. Даже в Москве противогаз имел только каждый четвертый человек; в остальной стране положение было гораздо хуже; громадное большинство деревень и маленьких городов вообще не имели противогазов. Но это была только половина трагедии. Ужасная тайна заключалась в том, что только очень немногие из этих наличных противогазов, как имевшихся в армии, так и гражданского населения, были куда либо годны. По официальным подсчетам около 65 процентов противогазов, произведенных во время войны, были совершенно безполезны. Основная причина была в том, что за недостатком резины, мы должны были употреблять прорезиненное полотно, которое не прилегало герметически к лицу при надевании противогаза. Был также серьезный недостаток листового железа, стекла и других предметов, идущих на производство противогазов.

Если бы немцы знали это, то весьма вероятно, что они развернули бы химическую войну в ужасающих размерах. Если же они это действительно знали, то мы должны признать, что только предупреждение Черчилля и Рузвельта о беспощадных газовых репрессиях спасло миллионы моих сограждан на полях сражений

и в населенных центрах.

Однажды, говоря с одним высокопоставленным военным чиновником из военно-химического управления, я откровенно спросил его, зачем он принимает эти противогазы.

«А что же делать?» ответил он, пожимая плечами с жестом отчаяния. «Совсем никаких противогазов? Таким образом мы имеем хотя бы психологические или моральные ценности».

Однажды, поздно ночью, мне случилось быть у Уткина, когда он приготовлялся ехать домой. Я увидел, как он пошел к сейфу и вынул оттуда несколько новых, хорошо сделанных противогазов. Очевидно мое лицо отразило мои мысли.

«Не глядите с таким обвинением», улыбнулся он. «Это для моей жены и детей. Кто знает, что может случиться… Нет оснований для паники, но здравый смысл требует бдительности».

«Но, Андрей Иванович, почему вы не употребляете противогазов, изготовляемых для широкого потребления?»

«Вы что, с ума сошли?» воскликнул он и добавил примирительно, «я побеспокоюсь о двух: для вас и вашей жены».

В отношении газоубежищ для населения дело обстояло еще хуже. Несколько построенных газоубежищ могли вместить только ничтожную часть населения больших городов и, кроме того, большинство из них были построены плохо и не изолировались герметически. В маленьких городах и в деревнях конечно, газоубежищ не было вообще.

В Москве Кировская станция метро была оборудована под газоубежище для высоких чиновников; кроме того, были убежища в различных наркоматах. В нашем Совнаркоме мы имели газоубежище с коврами, буфетом и библиотекой. Но все это не было большим утешением для рядовых граждан. Картина выглядела не лучше и в отношении противохимической обороны, несмотря на то, что задача была поручена Политбюро специальным химическим войскам НКВД.

Но если у нас были трудности с противогазами, танковыми деталями, моторизованным оружием, самолетами, — мы перекрывали все это, по крайней мере, в одном отношении. Однажды ночью, когда я работал над докладом, Уткин попросил меня зайти в его кабинет. Там я нашел его погруженным в то, что мне сначала показалось странной игрой. На его письменном столе, на стульях и в других местах были разложены куски материи, покрытые золотым и серебрянным шитьем.

«Погоны!» воскликнул он счастливо.

По всей комнате также были разложены артистически сделанные образцы новых форм для всех чинов армии, от маршала до лейтенанта, с погонами на соответствующих местах.

Тот факт, что погоны, некогда ненавидимые как символ царского милитаризма, должны быть восстановлены, еще не был предан огласке.

Решение было принято Политбюро и через некоторое время должно было быть «утверждено» Верховным Советом. Но производство их уже было начато и здесь лежали образцы.

«Я везу их в Кремль», сказал Уткин. «Товарищ Сталин будет лично их осматривать. Разве они не великолепны?»

Он был в веселом настроении. Чем хотел бы я быть, он хотел знать — маршалом? адмиралом? Он выбрал соответствующие погоны и положил их мне на плечи.

«Нет, нет, эти мне не идут», сказал он шутливо. «Может быть вы больше подходите для этих — просто полковничьи, но красивые».

«Андрей Иванович», сказал я, «не будет ли введение погон и новых форм воспринято многими, как возвращение к русскому империализму?»

Он засмеялся.

«Какое глупое замечание! Кто обращает внимание на то, что подумают несколько идиотов дома или заграницей? Сердца под расшитыми погонами останутся подлинными советскими сердцами, бьющимися в унисон, также как наши бойцы дружно сражаются за идеи товарища Сталина». Он помолчал и добавил, подчеркивая, «А кроме того, если даже некоторые люди подумают, что это знаменует возврат к империализму, то даже это может быть политически полезно, это создаст для нашей страны друзей в известных кругах.

ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

В то самое время, когда было об'явлено о мнимом роспуске Коминтерна, принесшем радость в сердца более наивных капиталистических союзников, я случайно побывал на складе «Международной Книги», организации, издававшей пропагандою литературу на иностранных языках. Там я увидел большие запасы свежеотпечатанной партийной литературы для распределения в тех странах, куда должна была вступить Красная Армия. В теории Коминтерн был мертв; на практике ЦК спешно готовился к идеологическому завоеванию Европы, наравне с военным завоеванием. Персонал «ликвидированного» Коминтерна лихорадочно реорганизовался для колоссальных задач, предстоявших в Германии, Франции, Польше, Венгрии, Италии и др. странах.

Ожидавшееся завоевание Европы должно было быть произведено смесью убеждения и силы. В нескольких красных зданиях в центре Москвы, недалеко от Кузнецкого моста, специально отобранные чекисты интенсивно обучались для работы заграницей, как в освобожденных советских областях, так и в других странах Европы. Это все были офицеры и партийцы. Они представляли сливки полицейской элиты. Они приготовлялись для исторической задачи «чистки» населения, находившегося под немецкой оккупацией и влиянием, — а на лексиконе НКВД «чистка» есть слово с устрашающим смыслом.

Эти вновь подготовленные полицейские контингенты сопровождали Красную Армию и войска НКВД в триумфальном походе на запад. Обычно они скрывали свою полицейскую принадлежность, нося обычные армейские знаки различия, вместо пурпуровых петлиц НКВД. В частности они были предназначены для отвратительного и кровавого дела по сортировке советских граждан миллионов тех, которые могли рассматриваться как «нежелательные» после их временного отпуска от советского контроля. «Лояльность» бесчисленных миллионов, которые уже пострадали от нацистской пяты, должна была быть измерена жестокими хлыстами советских полицейских. По обвинению в сотрудничестве с немцами тысячи были расстреляны, сотни тысяч сосланы в ужасном пире террора. Неслыханные ужасы были совершены этими отборными убийцами над населением Воронежа, Ростова, Смоленска, Северного Кавказа и всех других областей, после отхода немцев.

Мужчины, женщины и дети, которые работали при немцах просто для того, чтобы заработать свой хлеб, часто под

принуждением, сгонялись вместе и убивались, даже без видимости расследования, не говоря уже о суде. Громадные армии несчастных советских граждан загонялись в вагоны для скота и транспортировались в тыл, для рабкого труда в концентрационных лагерях и колониях. Общее количество этих вывезенных составляло, без сомнения, много миллионов к концу войны. Тот же самый вид чистки имел место, конечно, и в не советских странах после прихода Красной Армии.

Конечно, были настоящие коллаборанты, настоящие изменники, которые заслужили наказание. Но предположить, что измена достигла гигантских масштабов соответствующих репрессиям НКВД в освобожденных областях, было бы преступлением по отношению к русскому народу. Со своим характерным презрением к человеческой жизни, полицейское государство распространяло термин сотрудничества с врагом и измены на всех, кто осмелился произнести осуждающее слово против диктатуры Сталина или выразить хотя бы одно сомнение в «социализме» Кремля.

Правда требует, чтобы мы признали тот мрачный факт, что миллионы моих соотечественников сменили немецкую тюрьму на советскую.

ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Сообщения газет о моем разрыве со сталинским режимом говорили, что попробовав американскую демократию, я разочаровался в сталинском коммунизме. Они говорили, что непосредственное знакомство с американской свободой заставило меня покинуть советскую закупочную комиссию. Это сделало мою историю более драматичной и служило хорошим комплиментом Соединенным Штатам. Но это не было правдой. Правда заключается в том, что я давно принял решение сбросить тоталитарную смирительную рубашку при первом случае, где бы и когда бы этот случай не представился. Если бы я был назначен в Китай или Патагонию, а не в Соединенные Штаты, я сделал бы ту же попытку получить свободу для выполнения той задачи, которую я поставил перед собой.

Эта была задача, которую я поставил перед собой сознательно, хотя я и не могу вполне точно установить момента, когда мое решение окончательно созрело, это был результат чувств, которые созрели внутри меня медленно, но неизбежно. Меня понуждало к этому все то, что я пережил и продумал. В этом принимало участие мое детство и влияние грубоватого идеализма отца, также как и глубокая вера моей матери. Их доброта, их любовь к человечеству были разного хорактера, но одинаковы по сути. И эта их внутренняя сущность, безусловно, отразилась и на мне.

Мною двигал также дух народа, который породил бунтовщиков в его самые тяжелые периоды истории, при самых деспотичных и беспощадных правителях. Я знаю одно: если бы я верил, что возможно бороться за свободу внутри советских границ, я остался бы там… Если бы была действительная надежда на изменение к лучшему, — на внедрение политических и экономических демократических свобод, на отказ лидеров режима от их международной коммунистической программы — я остался бы там. К несчастью, режим с каждым годом двигается не в сторону человеческих идеалов, породивших революцию, а прочь от этих идеалов.

Надежды на нашу Россию становились все более туманными, экономические свободы и демократические гарантии все более отдаленными; даже самая память о них почти развеялась. Насилия своевольной власти становились все большими и все более беспощадными. Был момент, во время войны, когда некоторые из нас думали, что принципы Атлантической Хартии и обещания Четырех Свобод будут приложены также и к нашей

стране. Но эта иллюзия быстро развеялась. Мы поняли, что в отношении нашей страны эти документы остались просто клочками бумаги.

Русский человек, выращенный в советском парнике, вырываясь в первый раз в несоветский мир, оказывается расстерянным и почти беспомощным существом. Самые простые стороны жизни оказываются для него проблемами. От открывает, что он думает и чувствует иначе, чем все окружающие его. Ему нужно время, чтобы сбросить, слой за слоем, его тоталитарные понятия; процесс этот достаточно сложен. В Америке я был чужестранцем, без единого несоветского друга, без языка, без экономичских средств к жизни. Если бы у меня было в Америке столько же открытых и скрытых друзей, как имеется у советской диктатуры, мои проблемы были бы разрешены достаточно легко… В конце концов, я решил, что моя инженерная подготовка и опыт дадут мне возможность жить. Но в момент разрыва с комиссией я был бы без гроша, без друзей, беспомощный против ужасной машины мести и преследования, имевшейся в распоряжении моих оскорбленных тюремщиков. Семь месяцев были достаточно коротким сроком для того, чтобы акклиматизироваться в Америке, подобрать некоторый запас слов и установить несколько знакомств.

Я рассказал о самом бегстве на первых страницах этой книги. Я превратился в человека без родины. Я сделал себя мишенью для американских коммунистов и, что еще хуже, для всех их многочисленных попутчиков. Я превратился в цель смертельной ненависти для самого сильного в мире и самого безжалостного правительства.

Мое будущее было мрачно и беспокойно. Обдуманно, вполне сознавая все страшные последствия, я избрал ненадежную свободу и отказался от комфортабельного заключения. Только долголетний подданный современного диктаторского полицейского государства может вполне понять страх, который внушает его сила, беспощадность и аморальность человеку.

Опасения, с которыми я начинал свою новую жизнь, очень скоро были подтверждены фактами.

Когда сообщения о моем поступке появились в печати, советская закупочная комиссия сначала делала вид, что не знала меня. Очевидно, она ожидала инструкций из Москвы. Затем она признала мое существование и начала публиковать неизбежные заявления, чернящие меня. Самым значительным обвинением, которого я не предвидел, было то, что я все еще был капитаном Красной Армии. Таким образом она пыталась превратить мое политическое бегство в военное дезертирство, подводя легальный

базис под требование о выдаче меня в руки сталинской расстрельной команды. В действительности моя военная карьера закончилась в госпитале более двух лет тому назад. С тех пор я был чисто гражданским чиновником. Прежде чем Комиссариат Внешней Торговли мог послать меня заграницу, я получил формальное и полное освобождение от всех военных обязательств.

Коммунистическая пресса охотно бросилась в бой. Статья в «Дейли Уоркер» от 5 апреля, подписанная неким Старибиным, была озаглавлена: «Случай мелкого дезертира: Гитлер призывает здесь свои последние резервы». Она была составлена в стандартном стиле партийной клеветы. Но, читая ее, я заметил одну ноту, которая ничего не говорила непосвященному, но которая громко отдалась в моих привычных ушах.

Это была нота прямой угрозы. Товарищ Старибин сообщил от «отвратительной измене типа, именующего себя чиновником советской торговой комиссии». «Такие изменники, от Троцкого до этого ничтожества, называющего себя Кравченко, писал он, обманывает на некоторое время многих людей». Но — и здесь следовала угроза:

«Бдительность и карающая рука передового человечества обезвреживает и в конце ликвидирует их».

Читая эти слова я вспомнил, что в случае Троцкого эта карающая рука схватила топор, который она обрушила на его череп в Мексике. После нескольких параграфов клеветы товарищ Старибин снова вернулся к этой песне. «Кравченко, очевидно, старается выиграть время», заявлял он. Затем, указав тот факт, что я обратился за защитой к общественному мнению Америки, он заканчивал свою статью так: «Наша страна не является территорией врагов наших союзников. Было бы очень печально, если бы Соединенные Штаты превратились в тайник для негодяев подобного рода, в убежище для тех типов, которые не имеют в себе мужества сказать прямо народу Советского Союза ту ложь, которую они изливают газете «Нью-Йорк Таймс».

Таким образом «Дейли Уоркер» давала понять глупцам среди ее читателей, что кто либо «достаточно мужественный» может прямо обращаться к народу Советского Союза! И это после признания того, что я «выиграл время», потому что советская тайная полиция не смогла разгадать моих намерений! Я буду «устранен» не секретными агентами духовной родины товарища Старидина, конечно, но «передовым человечеством».

Мне было не трудно расшифровать это послание. Если я «незамолчу, то бдительная и карающая рука» сделает свое «благородное» дело; в топорах нет недостатка. Другие могли

посмотреть на подобные угрозы как на простую риторику; к несчастью я слишком хорошо знал методы того режима, который я разоблачал.